

Анна Мар

# Женщина на кресте



# Анна Мар

## Женщина на кресте

[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=164600](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=164600)

### Аннотация

«Генрих Шемиот написал коротенькое письмо управляющему в имение. Он извещал, что приедет через неделю с сыном и Кларой. Особых приготовлений не нужно, лишь бы дом был опрятен.

Шемиот открыл блокнот и увидел крупные слова синим карандашом – Алина Рущиц. Эту надпись он сделал вчера, упорно думая о девушке, с которой познакомился в доме инженера Оскерко.

Мысли его вернулись к ней. Сколько лет Алине? Не менее двадцати шести, двадцати семи. У нее обольстительная фигура, длинные пепельные волосы, нежные красноречивые руки. Ее большие глаза можно сравнить и с лиловыми вьюнками, и с пармскими фиалками, и с маленькими озерами. Но, по всей вероятности, у нее самая красивая часть тела та, которую обнажают для наказания розгами...»

# Содержание

Первая глава	5
Вторая глава	22
Третья глава	37
Четвертая глава	64
Пятая глава	85
Шестая глава	121

**Анна Мар**  
**Женщина на кресте**

# Первая глава

Генрих Шемиот написал коротенькое письмо управляющему в имение. Он извещал, что приедет через неделю с сыном и Кларой. Особых приготовлений не нужно, лишь бы дом был опрятен.

Шемиот открыл блокнот и увидел крупные слова синим карандашом – Алина Рушиц. Эту надпись он сделал вчера, упорно думая о девушке, с которой познакомился в доме инженера Оскерко.

Мысли его вернулись к ней. Сколько лет Алине? Не менее двадцати шести, двадцати семи. У нее обольстительная фигура, длинные пепельные волосы, нежные красноречивые руки. Ее большие глаза можно сравнить и с лиловыми выюнками, и с пармскими фиалками, и с маленькими озерами. Но, по всей вероятности, у нее самая красивая часть тела та, которую обнажают для наказания розгами.

Опытна ли она в любви? А если опытна, то насколько? И кто ее учитель? Почему она не выходит замуж? О ней ничего не говорят в городе.

Шемиот позвонил, машинально отдал письмо лакею и продолжал думать. Конечно, он ни и чем не уверен... ему пятьдесят два года... однако, когда он приближается к Алине, она опускает глаза, то бледнеет, то краснеет, смеется и отвечает невпопад. Есть нечто в Алине, чего он не знает, но

предчувствует и хочет проверить. Тем хуже для Алины. Последнее время он пришел к выводу, что, возникая на пути женщины, он становится ее «печальным событием». В этом он, Шемиот, не повинен. Жестокость внушает ему отвращение, вид крови заставляет бледнеть. Но вот он встречается женщину типа Алины или Клары. Мгновенно в нем зарождается беспокойная и странная жажда ее слез, тоски, стыда, боли. Он унижает ее всячески и не испытывает никакого раскаяния.

Он попробовал углубиться в английскую экономическую статью. Ему не удалось. Бросая книгу, он решил пойти к Алине. Завтра? Нет, сегодня... сейчас. Рассеянно он взглянул на фотографию своей покойной жены. В белом муслиновом платье, с цветами на груди, она улыбалась невинно, как святая. Он рассматривал ее с минуту равнодушно. Долгое время он культивировал в себе печаль о ней. В конце концов, она утомила и наполнила его враждебностью к мертвой.

Потом он перевел глаза на миниатюрный портрет сына.

«Юлий заносчив и тщеславен, но он добр».

В дверь постучались.

Клара принесла письма, счета, деньги. Просмотрев их, Шемиот нахмурился.

– Вы не экономны.

Очень бледная, она села.

– Я совершенно больна.

– Почему же вы не лечитесь?

– Это не поможет. Я умру. И вы будете счастливы.

– Хорошо, Клара. А теперь я уйду.

– К Алине Рушиц?

Он изумленно поглядел на Клару. Интуиция женщин всегда поражала его. Неужели Клара знает то, в чем он боится признаться самому себе?

– Да... я иду к Алине Рушиц.

– Вы заинтересованы ею?

– Возможно.

– Настолько, чтобы даже жениться?

– Это вас не касается.

– Должна я уехать из вашего дома?

– Как хотите. Только не вздумайте тогда рассказывать, что я вас выгнал.

Дом Алины Рушиц был двухэтажный, серого цвета, с колоннами и железной решеткой. Решетку оплел дикий виноград, а по стеклу круглой веранды струился поток цветущих бегоний. Сад квадратной формы занимал значительную площадь. Правая сторона ушла под абрикосы, сливы, вишни, яблони; на левой росли акации, кусты шиповника, сирени, жасмина и бесчисленное количество роз. Аллея из молодых, подрезанных туй одним концом упиралась в дом, а другим – в группу старых каштанов. Там стояла каменная скамья и каменный круглый стол. Немного дальше шла стена соседнего сада, в щелях которой вили гнезда воробьи и летучие мыши. Края ее посыпали толченым стеклом и утыкали гвоз-

дями острием вверх.

Алина не спеша гуляла по саду. Она исколола руки, срезая розы, и слегка запачкала землю белое платье. Иногда ее сердце сжималось.

Она думала:

«...Я влюбилась... неожиданно, и без памяти... и навсегда... почему?... я не знаю... Ко мне подводят мужчину, мне говорят, что его зовут Генрих Шемиот, я подаю ему руку, я чувствую, как по всему моему телу бежит трепет и... я погибла. Я больше не принадлежу себе самой. Мгновенно он отнимает у меня последнюю каплю ума, гордости, воли и целомудрия. Люблю, люблю, тысячу раз люблю... назло всему миру люблю. Мои нервы расхотелись. Сегодня я видела странный сон. Я – монахиня, и я на коленях перед настоятельницей... (Такой настоятельницы я не встречала в жизни, и в монастыре я тоже никогда не была...) Эта женщина прекрасна и горда. Она велит бичевать меня перед всеми сестрами. Я прошу прощения, я целую ее руки – она непреклонна. Тысяча глаз смотрит на меня, тысяча ртов насмешливо улыбается. Рыдающую, меня раскладывают и секут. Душа и тело мое содрогаются, я просыпаюсь в холодном поту и вспоминаю, что подобную историю мне рассказывал Шемиот... Это была средневековая монахиня. Когда ее наказывали, она кричала пламенные слова, как влюбленная... А я завидую ей... я так нуждаюсь в наказании... я чувствую себя здоровой, сытой, грубой».

Она ходила взад и вперед по аллее, находя новые белые выюнки, неожиданно распустившиеся среди подрезанных туй. Ее терзали сомнения. Нравится ли она ему? Что он думает о ней? Сознаться ему в любви или затаить чувство? Почему некоторые слова – наказание, розги, вина – так страшно произнести вслух?... Они обжигают губы. Они волнуют, как действия, В книгах любовь или груба или превеличенно возвышенна. Ей она кажется приятной, как холодное шампанское. Главная ее суть, конечно, не в поцелуях, а в том, что мужчина может позволить себе тогда всякую жестокость с женщиной, и женщина радостно примет боль, унижение и рабство.

С востока плыла туча, похожая на кленовый лист. Но распахнутые окна второго этажа еще сияли под солнцем. Японские вазы с чудовищными букетами лилий красовались на подоконниках. Неожиданно среди них, в темном квадрате, она увидела Генриха Шемиота. Он стоял без шляпы и улыбался.

– Вы... вы... Боже мой, – закричала Алина в детском восторге.

Его пышные, рыжегато-золотистые волосы вились около ушей, открывая сияющий, прекрасный лоб. Крупные черты бритого лица – нос, губы, подбородок – были резко чувственны, а продолговатые черные глаза полны иронии. Однако тонкая прелесть улыбки и певучесть голоса смягчали и чувственность, и иронию, и некоторую общую жестокость.

Несмотря на высокий рост и широкие плечи, его руки и ноги были изящны.

– Меня обманула ваша служанка, – крикнул он, высываясь, – она сказала, что вы у себя в кабинете.

– Войцехова все перепутает.

Алина живо поднялась к нему.

– Как я вам рада... вы вовремя... сейчас будет гроза...

– Я тоже рад вас видеть.

После сада в кабинете стиля ампир казалось прохладно и сумрачно.

Мебель красного дерева с тускло-сверкающей бронзой была обита зеленым штофом чуть светлее обоев, портьер, ковра. На круглых мраморных досках, которые несли грифоны, лежали тяжелые альбомы, переплетенные и в кожу, и в серебро. Одну из стен занимали полки с книгами, задернутые легкими шелковыми занавесками, тоже зелеными, усыпанными золотыми лавровыми веночками. Овальное зеркало над камином отражало люстру, лепной потолок, часть двери, ведущей в спальню Алины. Здесь висел большой портрет императора Наполеона I в коронационном костюме. Орел украшал массивную раму, держа в когтях досочку с надписью: «Бессмертен на небе и на земле». Можно было также найти герцога Рейхштадтского, Жозефину, Полину Боргезе, князя Понятовского, Валевскую среди бесчисленных драгоценных акварелей и миниатюр.

Узкие серебряные бокалы стояли наполненные розами, а

плоские хрустальные вазы – фиалками, любимыми цветами Первой Империи.

Шемиот с удовольствием оглядел знакомые предметы и уселся.

– Я пришел каяться перед вами, Алина...

– Вы?

– Да, я. Я наводил о вас справки. Не сердитесь. Я чересчур поглощен вами.

– И что же вы узнали?

– Ничего.

– Ага... вы наказаны. Они посмеялись.

Потом она рассказала ему о своем детстве и юности, рассказала спокойно и просто.

– Моя мать, урожденная графиня Гед. Почему она не вышла замуж – я не знаю. Однажды она поехала в Рим и вернулась оттуда уже со мною. Говорят, мой отец – итальянский патер. С тех пор она жила безвыездно в своем родовом имении. Она была высока, худа, смугла. Презирала людей и ненавидела животных. Я не помню, чтобы она взяла меня на колени или дала мне конфетку. Если неожиданно она замечала меня, ее взгляд становился тусклым. «Вы здесь, Алина? – спрашивала она. – Кто пустил вас ко мне?». Она учила меня читать по большой книге без картинок. В окно я видела парк. Вода чернела в круглом бассейне. Над ним часто летали голуби и садились на каменную балюстраду. Осенью листья лежали там грудями, как снег, и это рождало грусть.

– Ну, Бог с нею, Алина... лучше рассказывайте дальше.

Она засмеялась его нетерпению, восхищенная и польщенная.

Тучи затянули небо. Молния вспыхивала ежеминутно, а удары грома следовали после больших пауз. Старая Войцехова закрывала торопливо окна. Почти сейчас же потоки дождя обрушились на сад и дом. Поднялся бешеный ветер.

Шемиот, глядя на Алину, улыбался. То, что он угадывал в ней, становилось для него все более и более ясным.

Она продолжала.

В доме ее матери было восемнадцать комнат, и все красиво убраны. Бронза, фарфор, драгоценные ковры и картины, старинные кружева и бриллианты, редчайшая библиотека и сувениры царственных лиц – все это перешло от целого ряда предков. В 1807 году маршал Дюрок со своим штабом оставался здесь.

Лучшее воспоминание Алины – библиотека. Ежедневно она пробиралась туда и читала все без затруднения, ибо ни один шкаф не запирался. Когда Алине исполнилось десять лет, мать написала кому-то в Англию. Мисс Уиттон приехала немедленно. Она не побоялась суровой зимы и тишины имения. Это была стройная, золотоволосая женщина, красивая и веселая. Она носила исключительно белые платья, белую обувь, белые кораллы на шее и душилась гелиотропом. Мисс Уиттон выбрала самую отдаленную комнату на верхнем этаже. Обои там были светлые, с золотой полоской, мебель и ко-

вер цвета сливок. На мраморном камине она поставила желтые ассирийские вазы, подарок матери Алины. Мисс Уиттон звала сюда свою воспитанницу, если бывала нездорова. Это случилось также тогда.

Алина опустила глаза, смешавшись.

Шемиот спросил ее ласково:

– Она наказывала вас, вероятно?...

Лицо Алины запылало. Она кивнула головой, кусая губы.

– Как?...

– О... не мучьте меня... Почему вы спрашиваете?

– Это касается вас...

Алина перевела дух и овладела собой.

– Я не знала, как приятно говорить об этом с Шемиотом, – думала она.

– Она обворожительно краснеет. Я волнуюсь. Я буду жесток с нею впоследствии – думал он.

Вслух Алина говорила:

– Не вините мисс Уиттон. Я была несносным ребенком, упрямым, живым, дерзким. Я уносила и прятала то деньги, то браслет моей матери, их искал весь дом, а я воображала себя сыщиком и находила «пропавшие вещи». Я всегда скучала и жаждала приключений. Поэтому я писала любовные письма нашему управляющему (Не понимаю, откуда только бралось такое множество страстных слов). Вызвала его на свидание, потом пожаловалась мисс Уиттон, и беднягу выгнали. Можно смело сказать, что влечение к греху было во

мне огромно. Однажды я обрезала себе волосы и клялась, что это сделала мне Виктория-Юзефа, маленькая грустная девочка с белокурыми локонами, гостившая у нас летом. В наказание Викторию-Юзефу засадили учить английский урок, а я гуляла в парке... посмеиваясь... Сознание вины удручало меня до отчаяния.

Я любила слушать выговоры, и когда мисс Уиттон секла меня, я просила прощения с увлечением.

Алина вздохнула, смущенная пристальным и несколько тяжелым взглядом Шемиота.

Ее голос был полон грусти, когда она рассказала о своем первом причастии, об уроках катехизиса у доброго, старого ксендза-каноника. К нему она ездила вместе с мисс Уиттон по дороге, обсаженной тополями, на высоком доггарте. Иногда лошадь несла, влажные комья летели во все стороны, Алина вскрикивала, а мисс Уиттон громко смеялась. Лицо англичанки становилось розовым, смелым, счастливым, Она жадно пила воздух.

Потом внезапно умерла мисс Уиттон. Ее похоронили в имении за оградой, как раз в начале той дороги, по которой они скакали на уроки катехизиса. Алина и Виктория-Юзефа горько плакали. Мать Алины смотрела из окна кареты на печальную процессию. Глубокую яму сейчас же залила мутная вода. Был холодный, дождливый октябрьский день.

Через год умерла нежная, грустная Виктория-Юзефа. А еще через два года умерла мать Алины, вышивая лилии на

голубом шелку.

Старичок-каноник и какой-то важный хмурый господин долго говорили с Алиной. Ей уже исполнилось шестнадцать лет, и она почти взрослая. Она узнала, что она – внебрачный ребенок и должна сейчас же уехать из имения, которое переходило к наследникам. Алина была уничтожена, ошеломлена, унижена.

В последний вечер она долго прощалась с парком. Каждому кусту, каждой аллее, обнаженным статуям, воздушным беседкам, темной воде, в которой отражались облака, она кричала в отчаянии «прощай». И они отвечали тяжелыми вздохами, легким журчанием воды, слабым треском ветвей «прощай».

Алина уехала на юг, обеспеченная крупным состоянием, увозя то, что ей разрешили увезти: часть библиотеки, часть мебели, бриллианты, не родовые, а благоприобретенные, некоторые сундуки с бельем, туалетами. Она плакала до того безутешно, что ксендз-каноник напомнил ей о грехе отчаяния. Он жалел свою лучшую ученицу, всегда кроткую, послушную, очень набожную и без тени самомнения. Долгое время она посылала ему сентиментальные письма, вкладывая туда то лепестки роз, то веточку кипариса. На юге ее ждало утешение – здесь она познакомилась и подружилась с Христиной Оскерко. Ей казалось, что Христина заменит Викторию-Юзефу. Она более не ощущала одиночества. И она совсем забыла прошлое, когда по ее настоянию брат

Христины инженер Витольд Оскерко купил ей этот дом с садом, и она очутилась в нем, свободная и независимая.

Минуту Алина слушала дождь.

Потом спросила робко Шемиота:

– А вы ничего не расскажете мне о себе?

– Ничего, ибо моя жизнь проста, дорогая. Вы хотите подробностей? Их почти нет. Я долго учился, упорно создавал себе положение, овдовел... Теперь я одинок. Когда я начинаю скучать, я уезжаю в имение и зарываюсь в книги. Вот и все.

Мало-помалу буря стихла. Тучи поспешно уплывали к горизонту. Солнце сверкало в лужах и брызгах. Алина раскрыла окно. Шорох капель стоял в саду. Оттуда тянуло ароматной свежестью.

Шемиот откланялся, говоря:

– Я жду вас к себе, Алина. В любой день...

До самого вечера Алина была взволнована. Потом она почувствовала непреодолимое желание лечь и мечтать.

Она удалилась в спальню – большую комнату, оклеенную голубыми гладкими обоями, с мебелью красного дерева стиля ампир, обитой бледно-голубым штофом.

Перед туалетом Алина снимала кольца, серьги и клала их в золотую чашечку.

Туалет был ее гордостью. Массивная зеркальная доска, положенная на дуги красного дерева, украшенная бронзовыми маленькими сиренами. Круглое зеркало в оправе из

бронзовых нэнюфаров укреплено между двумя тонкими колоннами и может изменять положение. Но самое обворожительное – это Лорелеи на колоннах, поющие таинственные песни и смотрящиеся в зеркальную доску как в озеро. Алина распустила спои волосы, белокурые с серебристым оттенком, долго причесывала их, заплетала, душила, Раздевшись, она отправилась в ванную. Однако вода, опаловая от соснового экстракта, не укрепила и не освежила Алину.

Когда Войцехова явилась пожелать барышне покойной ночи, она застала барышню рыдающей. Войцехова давно служила у Алины. Она могла позволить себе и неблагоприятную выходку. Увидев слезы Алины, она зло усмехнулась.

Ее лицо, белое от подкожного жира, с мертвыми, выцветшими глазами и лживым, извилистым ртом ханжи, слегка оживилось.

– Люди говорят, что...

Это был целый обвинительный акт против Шемиота.

Алина рассердилась и прикрикнула на Войцехову. Та ушла, разобиженная. Упаси Боже, если она скажет еще одно слово... Барышня летит, как бабочка на огонь.

Теперь Алина очутилась в широкой, красного дерева кровати, с бронзовыми медальонами, с шелковыми занавесками лунного цвета. От одеяла, простынь, подушек шел нежный, стойкий запах амбры и розы. Где-то вверху была спрятана голубая электрическая лампочка, и когда Алина зажигала ее, вся кровать изнутри светилась, подобно гигантскому фона-

рю.

Алина тяжело вздохнула. Сердце ее сжималось, как утром, и ей было жарко. Что такое говорит Войцехова? Шемиот зол, скуп, деспотичен, он вогнал в чахотку свою первую жену, а Клару обобрал до нитки... Кроме того, у него были еще другие любовницы... Ах, какое ей дело до прошлого Шемиота? Прошлое не принадлежит никому... Его сына она толком не заметила. Когда она была там последний раз, Юлий уничтожил при ней коробку шоколада... в двенадцать часов дня... Вот что значит мужское воспитание... Клара делает вид, что не замечает Алины. Бедная Клара! Седые волосы, плоская грудь, чересчур широкие бедра и эти печальные, печальные, как у животного, глаза... Бедная Клара!.. Она, вероятно, много плакала на своем веку. Но теперь она не должна плакать, ибо это бесполезно. Виноват ли перед Кларой Шемиот? Относительно.

Голова Алины туманилась... Она меняла позы, почти задыхаясь. Что еще говорит Войцехова? Якобы Шемиот стар и безобразен. Сухая ересь. Генрих (как сладко называть его по имени), может стать идеалом каждой женщины. Когда он смотрит так внимательно и нежно... Не введи нас во искушение!.. (Алина натянула одеяло, защищая грудь от воображаемых поцелуев Шемиота... Иисус-Мария, до этого у них дойдет еще нескоро.)

Алина легла ничком. Соблазнительные картины мучили ее наяву, и она уже не боролась с ними.

Огромный фантастический сад, всеми забытый, подобно Парадку Золя, где можно встретить пенящийся ручей, гигантские цветы, каменные ступени, поросшие травой и мхом. Солнце, ленивая тишина, густые ароматы. Зрелые плоды изредка падают на землю. Выются черные и синие махаоны, звенят стеклянные стрекозы. Алина гуляет здесь вместе с Шемиотом. Конечно, она бросится сейчас перед ним на колени и скажет ему нечто безумное... Ах, как девственность тяготит ее. «Распустите мои полосы, Генрих, нагнитесь и возьмите мой поцелуй, глубокий и медленный... ни и чем, ни в чем я не откажу вам... нежное любопытство ваших глаз, уст, рук будет насыщено... Сжальтесь надо мною, Генрих, сжальтесь надо мною, ибо я люблю вас!» Генрих ломает ветки, но голос его вовсе не строг, а певуч и томен. Потом он бросает Алину на траву, мнет кружево ее юбок, и среди вздохов травы, деревьев, при знойном солнце, при мелодии птиц и стрекоз, сечет ее жестоко...

Алина сбросила одеяло, зажгла электричество, отдернула занавески кровати, отыскала на ночном столике флакон одеколона и освежила себе виски.

Она успокоилась и размышляла с горечью и раскаянием – Шемиот считает ее невинной и чистой, а она, подобно Феннимор Иенсена, – «мешок, полный гнили». Если она когда-нибудь заслужит любовь Шемиота, ей придется измениться. Он должен будет исправить ее, как бы сотворить заново...

– С тех пор, как я влюбилась, я окончательно погибла. Я – распутна и груба. Я совершенно забросила свои религиозные обязанности. Ксендз Казинас, вероятно, удивляется, с какой аккуратностью я пропускаю воскресные мессы... Я даже не знаю, смогу ли я сделать испытание совести так же быстро, как раньше.

И ее мысли направились на монастырь. Вот куда, по-настоящему, она должна была бы уйти и каяться. Она мечтала о нем, ужасаясь, трепеща и вместе с тем наслаждаясь своим страхом.

Монашеский подвиг удручал ее душу. Он был так же печален, как и труден. Женщина оторвана от жизни, обречена на бездетность и аскетизм, брошена на отвлеченность, где ей часто пусто и холодно и не на что опереться. В конце концов, не всех влечет Сиенская и не всем понятен язык Терезы. В монастыре женщина не принадлежит себе. Это еще полбеда, но она не принадлежит никому в отдельности – это уже несчастье.

Алина вернулась к своему сну и рассказу Шемиота.

Неужели же в монастыре наказывают? Тайно ей хотелось, чтобы это было именно так.

Какой восторг броситься на колени перед суровой аббатисой и повторить ей слова несчастной Лавальер: «О мать моя, я отдаю вам свою свободу, ибо я ею дурно пользовалась».

И уже засыпая, она представляла себе, как она была бы кротка, послушна, усердна и как бы ее секли перед настоя-

тельницей раз в неделю.

## Вторая глава

Это был четверг, приемный день инженера Оскерко. Как всегда, Христина сидела в дубовой столовой стиля Ренессанс, где время от времени выкрикивали два зеленых попугайчика, и, не торопясь, разливала чай гостям.

В раскрытое венецианское окно виднелась чудесная панорама города с его садами, башенками, куполами, двумя готическими шпилями костела, круглыми площадями, центральными шлеями, вплоть до полосы моря на горизонте.

Сейчас небо, крыши, стены, стекла, дымка над городом были пронизаны теплым, розовым светом вечернего солнца. Иные группы деревьев казались черными, другие – темно-лиловыми, третьи – серебристыми, почти белыми, и, наконец, вдалеке они были определенно пурпурного цвета. Христина налила последнюю чашечку чая, поставила ее на поднос горничной и устало откинулась в кресле.

Глаза у нее были темно-карие, лицо очень бледно, волосы совершенно коричневые, плотные, как парик, губы яркие и тонкие, а вся фигура гибкая, высокая и сухая. На левую щеку она приклеивала мушку. Ее платье было кофейного цвета с низко вырезанным, бледно-голубым муаровым жилетом. Она засунула между двумя его пуговицами золотой лорнет на длинной цепочке, которым никогда не пользовалась. Несколько раз Христина спрашивала горничную:

– Вы звонили по телефону барышне Рушиц?

И при ответе. «Барышни нет дома», – она ежилась.

Среди общего гула (собралось человек тридцать гостей) попугайчики надрывали свои горлышки. Дамы поели торты и сласти, расхваливая позднюю весну, которая всех задержала в городе. Мужчины столпились вокруг «неподражаемой» Мисси Потоцкой. Ее чудовищное белое эспри, круглое и дрожащее, напоминало дароносицу, а синее платье с золотыми пачками и зеленым поясом баядерки – наряд павлина.

Мисси Потоцкая была дочерью разорившихся родителей. По слухам, она усердно ловила женихов. Громче других смеялся ее остроумам сам хозяин дома, инженер Витольд Оскерко, розовый, полный, бритый блондин, слегка косящий на левый глаз.

В столовую входили Генрих Шемиот с сыном Юлием и доктор Мирский, известный психиатр, владелец лечебницы.

Всех их встретил благожелательный, уважительный шепот.

Шемнот-отец церемонно поцеловал руку Христины. Она быстро и враждебно посмотрела на него. Сейчас же он отошел к Мисси Потоцкой.

Доктор Мирский шепнул Христине по-приятельски:

– Сегодня я видел вашего мальчика... Ах, это исключительный ребенок.

Она сухо и неопределенно улыбнулась.

Юлий Шемиот – высокий юноша с белокурыми полоса-

ми и глазами, напоминавшими светлые аметисты, оставался возле Христины.

Он положил на ее носовой платок кожаный футлярчик.

– Что это, друг мой?

– Маленький сувенир... вчера был день вашего рождения.

– Я его не праздновала.

Однако Христина раскрыла коробочку и нашла там кольцо редкой работы с великолепным опалом.

– Опалы приносят несчастье.

Она приложила кольцо к своему голубому жилету и наде-  
ла без слов благодарности.

Юлий бормотал, пожирая ее глазами:

– Дорогой мамочке моей миленькой, которая наполнила  
мое сердце радостью. Ангелочку, бессмертному кумиру с по-  
желаниями долгих лет жизни!

Солнце село. Небо начало темнеть, из голубого перели-  
ваться в черное, но на горизонте еще горела оранжево-крас-  
ная полоса среди золота. Ничего более не сверкало. Готи-  
ческие шпили костела и весь он казались сделанными из  
Черного мрамора. В черное окрасились и деревья, и глав-  
ная аллея, по которой медленно катились экипажи, увозя на-  
рядных женщин в казино. Наступала ночь, мягкая, влажная,  
пропитанная запахом акаций.

Мисси Потоцкая простилась, торопясь куда-то. За нею ис-  
чез Витольд. Многие из гостей тоже уходили.

– Вам дурно? – спросил Юлий, удивляясь бледности и бес-

покойству Христины.

Но она не слышала, пристально глядя на дверь столовой. Алина Рущиц входила быстро, чуть-чуть запыхавшись. С полей ее большой шляпы мягко спускались перья райской птицы. На ней был шелковый, очень простой костюм и букет фиалок между складок корсажа.

– Ах, гадкая, – прошептала Христина, жадно целуя подружку, – что ты со мной делаешь?

Но Алина сияющими глазами смотрела на Шемиота-отца. Издали сдержанно и учтиво он поклонился ей. Немного разочарованная, она села около Христины, принимая в чашке японского фарфора чай и дружелюбно улыбаясь Юлию.

Небрежные фразы мешались с мыслями.

– Этот мальчик очарователен, хотя совсем не похож на отца... он словно нарисован сиреневым и синим... сиреневым и синим, – у него чудесный профиль... я начну обожать его имя... оно очень идет к нему...

А Юлий, отрезая ей кусочек торта, решал, в свою очередь...

– Если она станет моей мачехой, мы поладим... в ней есть какая-то разжигающая покорность... Жаль, что я влюблен в Христину...

– Не знаю, почему ты кажешься возбужденной в последнее время, Алина, – заметила Оскерко, – вернее, знаю, но не хочу говорить...

– О... тише.

– Нас никто не слышит.

Шемиот-отец прощался. Алина бросила на него умоляющий взгляд. Он сделал вид, что не заметил.

– А ты, Юлий?

– Я ухожу с тобою, отец...

Вслед за Шемиотами разошлись и другие гости. Теперь была глубокая тишина и квартире. Попугайчики спали, закрытые атласным зеленым покрывалом.

Христина говорила с горечью:

– Вы все купаетесь и разврате... вас бьет чувственная лихорадка... У Шемиота любовница в доме, Клара ради него изменила жениху, и тот застрелился. Мисси Потоцкая оголяется ниже талии... К брату моему чуть ли не ежедневно бегают накрашенные девки. Скоро они разложатся по всем комнатам... Что ты знаешь о Шемиоте? Возможно, он болен... и потом он стар, суров и насмешлив... а любить можно только добрых и ясных людей... К чему все это? Ах, я так гордилась тобою, Алина... ты была так чиста, наивна, спокойна... Я думала (о, как я ошиблась), я думала, тебе будет достаточно моей любви, дорогая...

И на изумленный жест Алины она возразила, волнуясь и тоскуя:

– Я люблю тебя... я люблю тебя! Ты думаешь, я безумна? Нормально, ненормально... Ах, оставь... Может быть, ты справишься у врачей?... Что они знают, эти грязные животные? Для них все просто, ясно, на все приготовлено ле-

карство, режим, душ, диета... Природа же – великая обманщица... Разве у меня нет ребенка чересчур умного?... Откуда это?... Нелепость... случайность... Глупейшая история на курорте, нечто вроде кошмара... моя нерешительность, боязнь сделать аборт, в результате – мальчик... Вот тебе природа!..

Униженная и удрученная, Алина молчала.

Город горел огнями. Ночь была лунная, почти без звезд. Алина долго стояла у окна. Ей дарованы красота, здоровье, богатство, изящество мысли, и неужели со всем этим она не сумеет быть счастливой?

Плач Христины заставил ее испуганно оглянуться, Бросаясь перед ней на колени, Оскерко повторяла с отчаянием:

– Я люблю тебя... Я люблю тебя...

Несколько дней шел дождь. В саду нанесло много песка, испортило клумбы, размыло дорожки. Алину терзали муки стыда, раскаяния и досады. Особенно ей было неприятно вспоминать последнюю встречу с Христиной Оскерко. Подруга внушила ей страх и любопытство. Что случилось с этой веселой, рассудительной девушкой? Как она, Алина, раньше ничего не замечала? Неужели же это была настоящая любовь: ревнивая, безрассудная и жестокая? Потом Алина решила, что у нее нет никаких поводов презирать Христину. Правда, она чувствует не так, как все... Но разве это вина?... Она совсем не хочет причинить подруге горе, отдаляясь от нее. Зачем? Они привыкли друг к другу.

Она лукаво улыбнулась, не желая признаться себе самой, что ей доставляет удовольствие – глубокое и странное – мучить Христину.

И позже она думала о том же:

– Если бы во мне, наряду с жаждой унижения и боли, не жило стремление унижать и причинять боль в свою очередь, я бы превратилась в нечто скользкое и липкое.

В тот же день Войцехова завела речь о лакее Шемиота – Яне Щуреке. Барин уезжал в имение, и Щурек остается без места на летнее время. Почему бы барышне не взять его к себе в садовники? Она вовсю расхвалила Щурека, пожилого, хитрого литовца, с лицом, изрытым оспой.

На самом деле хитрая Войцехова просто изменила тактику. Что же, если барышня выйдет замуж, придется ладить с барином.

Чуть порозовев, Алина выслушала старуху. Хорошо, можно взять Щурека на лето.

Потом она сложила свое вышивание и шелковый мешок на бронзовом треножнике и размечталась о Шемиоте. Желание увидеть его наполнило ее волнением и ликованием.

– Боже мой, он приглашал меня столько раз... Не сегодня-завтра Клара утащит его из города...

И она кончила тем, что переделалась и поехала к Шемиоту в восемь часов вечера.

К ней вышла Клара, бледная и официальная.

Она сказала тихо:

– Господин Шемиот не принимает. Алина поняла, что Шемиот, значит, не слышал звонка. Ей стало весело. Она тоже не протянула руки.

– О... меня он примет.

– Вы так уверены, мадемуазель?

– Конечно.

– Но я все-таки просила бы вас приехать завтра утром или передать мне...

Клара упорствовала, заслоняя дверь своими широкими бедрами и поднимая на нее умоляющие, измученные глаза.

В ту же минуту показался Шемиот.

– Ах...

И, целуя радостно руку Алины, пропуская ее вперед, он сказал через плечо:

– Распорядитесь подать нам кофе... фруктов..., кажется, у нас есть ликер...

Клара молча исчезла.

В кабинете Шемиота Алина несколько раз облегченно вздохнула. У него... С ним... Наконец-то...

Лампа под абажуром из белых бисерных нитей освещала только стол и букет темно-красных, почти черных роз. Их благоухание, тонкое, сладкое, нежное, проникало в душу Алины, Она взяла одну из них, и, полузакрывая глаза, медленно, кончиками губ обрывала лепесток за лепестком.

Последнее время она думала, что способна на одно сладострастие, Теперь она ощущала любовь, глубокую и ясную,

Она изумлялась в душе, почему она представляла его себе только жестоким, грубым, властолюбивым, в страсти утонченно-требовательным. А между тем тем он сидит возле нее в двух шагах – веселый, ласковый, добрый, и это так хорошо... Боже, как хорошо быть простой и здоровой...

– Вы не слушаете меня, дорогая?...

Он нежно взял ее за руку. Она тихонечко отняла.

– Простите меня... я рассеянна...

– Что такое?...

Алина покачала головой. Если бы признаться... но это невозможно.

– Почему вы перестали навещать меня, Алина?...

– Клара не любит меня...

– О, пустое...

Но она не верила и ревновала.

Шемиот сказал певуче:

– Я много думал о вас, Алина... вы немножко беспутная женщина. При большом ветре вы способны побежать к морю и протягивать к нему руки и петь, воображая себя Ундиной... в глубокую метель вы можете бродить по незнакомым улицам и считать себя одинокой и быть действительно одинокой в целом мире. Вы страстно влюбитесь в голос поющий за чужой изгородью, и проплачете ночь из-за артиста, который спускался по лестнице, надевая перчатку... Другой раз, не зная о том, вас сведет с ума епископ, служивший мессу, с лицом Христа. А потом вы исхудаете из-за того адмирала,

который стоит у руля, и его плащ развевается самым романтическим образом... Ах, Алина, вы очень забавны...

Клара принесла им кофе. Она даже надела фартучек, словно горничная. Вероятно, с таким же лицом она прислуживала и покойной жене Шемиота. Потом она ушла и затаилась в соседней комнате. Алина через стену чувствовала ее присутствие.

Она сказала, отпивая кофе:

– Утром у меня была Христина. Ей очень тяжело...

Шемиот холодно пожал плечами.

– Христина Оскерко дурно устроила свою жизнь.

Алина пыталась защитить ее. Все состояние принадлежит брату, Витольду. Он кутит и много проигрывает. А Христина при нем в роли едва ли не экономки.

– Держитесь подальше от нее, – настаивал Шемиот, – ваша дружба безнравственна. Я это понял с первого взгляда. Христина внесет сумбур, сплетни, несчастье и сожаление. Пусть она кается на стороне. Где ее ребенок?

Властный тон Шемиота очаровал Алину. Она ответила несмело, глядя на его тонкую руку, которую утомлял огромный изумруд.

– Где ребенок Христины? Она отдала его в частный пансион.

Клара ходила за дверью. Шемиот мысленно улыбнулся. Заставить женщину объясниться в любви, когда другая женщина плачет за дверью, – вовсе не так уже плоско.

– Почему вы не выходите замуж Алина?

Она засмеялась и смеялась долго, чтобы скрыть волнение.

– Но... разве вы?... Святая Мария!.. Если бы вы захотели жену...

Он чуть-чуть поклонился:

– Я знаю, вы очень расположены ко мне, Алина. Но я не гожусь для роли мужа... Я вас так понял?

Она не упала в обморок, а проговорила чужим голосом:

– Вы меня поняли. Я люблю вас, Генрих...

– Вы мне льстите... Я стар... из этого ничего не выйдет...

– Никогда?

Он позабавился ее отчаянием:

– Я не знаю.

И, после паузы:

– Я отказался от чести быть вашим мужем, Алина, но это еще не значит, что вы мне не дороги...

Каким-то чудом она не заплакала. Она прошептала:

– Ну, мне пора уходить...

– Я скоро уезжаю в имение. Мы еще увидимся?

– Да.

Стоя совсем близко, он заглянул ей и глаза, По ней прошел знакомый, глухой трепет.

– Благодарю вас за сегодняшний вечер, Алина. Возле самых дверей кабинета Клара оставалась в позе оцепенения. Увидев ее, Алина невольно вздрогнула. Обе женщины слегка поклонились друг другу.

Когда Алина ушла, Шемиот посмотрел на часы. Было четверть первого.

– Боже мой, – пробормотал он, крайне недовольный.

Кофе, фрукты, запах роз, ликера и духов Алины раздражали его. Обыкновенно он курил очень мало. Теперь, нервничая, он наполнил пепельницу папиросами. В это время он уже бывает в постели, освеженный умыванием, переменяя белье, и спокойно читает или обдумывает прошедший день. А сегодня он потерял столько времени из-за этой девушки, мечтательной и эксцентричной. Не зашел ли он далеко? Как подобные волнения отразятся на его здоровье? И в конце концов, к чему все это? Менее всего он склонен жениться. Это хлопотно и скучно. Десять лет тому назад ему казалось заманчивым победить каждую женщину, бросить ее перед собой на колени... Теперь его больше тешит посеять собственные вкусы и желания на благодатной почве, Алина для него – хорошо вспаханное поле... он бросает туда семена и ждет всходов.

Клара вошла убрать со стола. Она не позволяла лакею мешать Шемиоту.

Шемиот внимательно посмотрел на нее.

Как у всех нервных людей, ее внешность мгновенно менялась. Сейчас, после визита Алины, Который для нее тянулся вечность, после нескольких часов нестерпимых страданий, ревности и отчаяния, Клара постарела. Она согнулась, смотрела мутным, бесконечно усталым взглядом.

В первый раз за последние годы в Шемиоте вспыхнуло страдание, пылкое и стремительное:

– Милая, ты устала?

Изумленная, она подняла голову. Как давно он не называл ее на «ты».

– Совсем немного...

Он подошел ближе, улыбнулся, обнял ее с живостью и грацией.

На секунду перед ним мелькнуло ее прежнее лицо розовое, свежее, с доверчивыми кроткими глазами, с зубами белыми, как сама белизна. Она была перед ним такая, какой двадцать лет тому назад пришла отдать ему честь, деньги, семью, жениха, все, что имела, – ради унижительного и двусмысленного положения при его жене. Он вспомнил также то жуткое, странное и жестокое, чему он подвергал ее, когда хотел, и чему она покорялась в немом ужасе, с тайным сладострастием, отчаянием и стыдом. Она была больше чем любовница и больше чем раба. Она была его эхом и вещью. Теперь она должна смотреть, как он любит других женщин и любит их в свою очередь.

Его сердце сжалось.

– Ты устала, Клара... конечно, ты устала... извини меня...

Она продолжала смотреть на него скорее испуганно, чем благодарно. Какое еще новое мучение он готовит ей? Она по опыту знала, что он становился особенно мягким, ласковым, предупредительным перед тем, как причинить ей боль.

– Тебя беспокоит Алина?... Она нетактична и болтлива...

Уверяю тебя, я даже не нахожу ее достаточно умной.

Клара покачала головой. Она выдавила из себя глухие слова, убирая кофе:

– Девочка очень мила.

– Нет, нет... не будь снисходительна... Обожди, мы скоро уедем на дачу и избавимся от непрошенных визитов...

– Как хочешь...

Он снял и бросил воротничок, манжеты. Запонки покатались на пол. Клара подняла их.

Он улыбался доброй и просительной улыбкой и казался совсем юным со своими пышными золотистыми волосами, крупными губами, черными, гордыми глазами.

Клира вышла и вернулась... У нее слегка кружилась голова... Неужели он до сих пор любит ее?... Ведь когда-то он клялся жениться на ней. Неужели же?... И она уже страдала за Алину.

Шемиот не ушел в спальню, а прилег на диван и подождал Клару. Обнимая ее, он спрашивал растроганным голосом... Что у нее болит?... Почему она не бережет своего здоровья?... Почему она так грустна?...

Тогда она заплакала, отвечая шепотом, ибо от слабости и волнения у нее не хватало голоса:

– У меня везде болит... грудь, поясница, внизу живота... между лопатками... в пищеводе... Я чувствую, как я задыхаюсь, и этот пот... ты ведь знаешь мое тело?... я всегда была

сухая и горячая... теперь я мокрая и холодная, как лягушка... я не сплю и не ем. Я боюсь умереть, Генрих.

Он страстно обнял ее, словно был влюблен в нее без памяти, целовал ее волосы, лицо, руки, утешал, успокаивал, обещал, клялся, покуда она не начала тихо смеяться, просветленная, счастливая, почти здоровая. Тогда он ощутил мертвящую пустоту, глубокое утомление... Проникся мыслью об Алине и равнодушно отослал спать Клару.

## Третья глава

Шемиот уехал в имение, ни единым словом не предупредив Алину, даже не простившись с нею по телефону. Алина узнала эту новость от лакея Щурека, который перевез свой синий сундук и теперь исполнял здесь должность садовника. Алина была смертельно оскорблена. Наплакавшись вдоволь, она утешила себя мыслью: «Мужчину всегда пугает сближение с женщиной, И потом эта Клара!.. Она восстанавливает его против меня, А быть может, он мучает меня умышленно?»

Однако она продолжала не спать, томиться, страдала от зноя, мучила всех в доме своей резкостью. Ежедневно сюда являлась Христина.

Алина как-то вспомнила о ее ребенке, который, несмотря на лето, оставался в пансионе. Экономка взялась следить за ним. Бруно целыми днями бродит один по пустым классам и только за обедом, завтраком видит людей. Она представила его круглую головку с каштановыми редкими волосами, серьезные голубые глаза, пухлый ротик. И, содрогаясь от сострадания, упросила Христину привезти к ней Бруно. Увидев его, Алина удивилась. Снова у него был старенький костюмчик, плохо обутые ножки, прошлогодняя шляпа. А между тем еще совсем недавно Алина передала Оскерко довольно солидную сумму, она всегда заботилась об этом

несчастном ребенке. Каждый раз при встрече с ним она обходила подряд несколько магазинов, и в те дни ей до самого вечера приносили пакеты и коробки.

Сегодня она рассердилась на Христину:

– Куда ты выбросила деньги?

– Я? Но я заплатила за свое коричневое платье... то, что с голубым жилетом... оно всем нравится...

– О, это гадко... ты дурная мать, Христина.

– Бруно еще мал для нарядов...

И так как Алина занялась мальчиком, Христина кидала вокруг себя мрачные, полные зависти и тоски взгляды. Почему Алина не возьмет его к себе? Что было бы проще, как не жить вместе в этом чудесном, уединенном особняке, среди изящной старинной мебели? О, вместе на этой широкой сладострастной кровати, задернув ее шелковые, лунного цвета занавески. Она бы целовала маленькие ступни ног Алины и линию спины, изогнутую и волнующую, и длинные ароматные волосы, всю ее, всю...

Христина почти задыхалась. Она встала и неожиданно для самой себя очутилась в комнате Войцеховой. Старая служанка в черном платье, но без чепчика бормотала молитву. Они очень приветливо поздоровались.

– Ну, как дела, Войцехова?

Войцехова недовольно пожевала губами. Осторожно она намекнула, что барышня изменилась к худшему. По хозяйству ненужные траты и упущения. Щурек оказался вором,

однако барышня не гонит ею, ибо негодяй умеет рассказывать о порядках в доме господина Шемиота.

Христина раздраженно вспыхнула.

– Господин Шемиот – безнравственный человек, – сказала она ледяным тоном, – я не о таком муже мечтала для Алины.

Служанку прорвало:

– О да, барышня ох как попрыгает, когда выйдет замуж за Шемиота... небось, та гувернантка по три дня ходит с мокрыми глазами... Сердце Иисуса, смилуйся над нами!.. Все горе еще и оттого, что барышня неверующая...

И они долго еще сплетничали, терзаемые тревогой и завистью.

Наконец Войцехова проговорила льстиво:

– И почему бы нашей барышне не выйти замуж за пана Витольда? Человек молодой, богатый. Это была бы стоящая партия... Люди заткнули бы свои глотки.

Христина слушала ее, оглушенная. Какая мысль!.. Если бы Алина вышла за Витольда, они бы породнились... вполне естественно, что Христина тогда переедет сюда... И маленький Бруно... и все будет хорошо.

Она под села к служанке, и они продолжали шептаться, как две заговорщицы.

В комнатах маленький Бруно тихонечко и с удовольствием рассматривал картинки.

Апине стало скучно. Чувствуя себя чужой и собственном доме, уставшая от Христины и бесплодной печали послед-

них дней, она спустилась и сад.

Был полдень. Бледная лазурь казалась раскаленной. На кустах розы цвели вторично: белые, желтые, пурпурные и розовые. Пчелы ползали по ним, как тяжелые капли золотого меда. Белые розы казались сделанными из белого шелка, неживыми, сверкающе-прекрасными и возбуждали сладострастное желание бури, уничтожения, гниения, смерти. Они пили летнее солнце, ароматы, ветер и синеву неба своими детскими, целомудренными устами. Желтые розы, по краям розоватые, словно залитые отблеском зари или заката, теплые, нежные, чувственные и покорные. Бенгальские розы, розы Франции и те, пурпурно-черные махровые, сладкие, как мускат, вызвали в Алине жест восхищения. Розовые розы были круглы, тяжелы, словно зрелые, сочные плоды; густой аромат их, смесь вина, сахара, ванили, осаждался на губах, подобно соленому ветру моря.

В конце аллеи она села на каменную скамью, оглядываясь кругом пьяными глазами. Не была ли любовь соткана из ароматов, солнечных лучей, медленного сладострастия?

И она закрыла глаза, мечтая о Шемиоте и обладая им мысленно с опытностью девственницы.

После ряда бессонных ночей Алина дождалась письма от Шемиота. Самым невинным тоном он приглашал ее к себе в имение. Он объяснял, что через четыре часа езды по железной дороге Алина приедет на станцию X., где ее будут ждать лошади.

Далее он рассказал, что дом его стоит на горе. Дожди вырыли глубокие извилистые овраги, и по крутизне цветет дикий шиповник. Ниже шумят деревья, и река достигает их корней. Несколько раз он видел молодого орла. В поле можно найти лиловые и желтые ирисы, пахнущие медом, зрелым хлебом, горячей землею, а также голубые, белые, сиреневые колокольчики и липкую смолку.

Алина тихонько вскрикнула и опустила письмо. Что Шемиот думает о ней? Знать ее, Алину, барышню из общества, к себе в имение? И он не написал ни одного слова ни об Юлие, ни о Кларе?... И как он мог быть таким самоуверенным? Вот что значит объясниться в любви первой... женщина всегда это почувствует... ее более не уважают... в ее готовности на все уже не сомневаются... Алина рассердилась, потом заплакала, потом выбрала себя за подозрительность, возликовала, затряслась от любви, нетерпения и решила уехать к Шемиоту. Был понедельник, и она, суеверная, отложила отъезд свой на вторник.

Через час, когда она гуляла по аллее маленькими, чинными шажками, Щурек доложил о приезде Шемиота.

Это был молодой Шемиот, Юлий.

Покуда он вежливо кланялся и передавал поклон от отца, Алина стояла перед ним бледная и растерянная. Она приготовилась видеть его отца.

– Вы снова в городе? Что случилось?

Юлий принял серьезный вид. Клара совсем расхворалась.

Они опасаются несчастного исхода. Остаться в имении без медицинской помощи невозможно. Только что он отвез ее и лечебницу св. Винсента.

– Боже мой, какое несчастье, – повторила Алина.

Потом она вздохнула с огромным облегчением. Так вот почему Шемиот пригласил ее в имение?... Он один... он тоскует... он безумствует... милый, милый!

И она пригласила Юлия завтракать с нежным соболезнованием.

Как никогда, он был интересен сегодня. Его красивая голова с профилем Цезаря, светлый костюм, цветок в петлице, длинный шелковый галстук, весь изящный силуэт молодого человека лет двадцати, а главное, какая-то неуловимая грусть в лице растрогали Алину.

«Это его сын, – подумала Алина, – это его сын...»

За завтраком Юлий заговорил откровенно. Алина поняла его с первого слова:

– Дорогой Юлий, чего, собственно, вы хотите от Христины?

– Я хочу жениться на ней...

– Христина старше вас.

– Это не имеет значения.

– Она небогата.

– О, я ведь уже кончил университет... Кроме того, я имею кое-какие средства от матери... таким образом, я совершенно самостоятелен...

– Вы уверены, что Христина расположена к вам?...

– Я ни в чем не уверен...

– А ваш отец?...

– Я говорил с ним. Он дает мне полную свободу. Алина засмеялась.

– Извините меня, Юлий... Я задавала вам вопросы с грубостью мешчанки... что мне сделать для вас?

– Помочь мне завоевать Христину...

– Я постараюсь...

После ухода Юлия она снова очутилась в саду, мечтательная и ленивая. Цветники благоухали, под абрикосами лежала густая тень. Она было направилась туда, но окунулась в траву выше колен и вернулась снова на дорожку. На небе розовые, желтые и фиолетовые тона растопились и смешались воедино.

Ее попросили вернуться в дом – барышня Оскерко звонит по телефону, – и она пошла недовольная. Одна мысль, что Христина может помешать ее встрече с Шемиотом, вызывала в ней раздражение и неприязнь.

Она лениво взяла трубку:

– Это ты, Христина?... Здравствуй... нет, ко мне нельзя прийти... я уезжаю сегодня вечерним поездом...

Христина истерично что-то закричала. Алина перебила:

– Не зли меня, милочка... Боже мой, какая скука... я ведь свободный человек...

И раздосадованная, она отошла от телефона. Разумеется,

Христина явилась. Она падала на колени, рыдала, заклинала, грозила все рассказать Кларе или облить кислотой Шемиота. Алина осталась непреклонной. Кротко и терпеливо она убеждала подругу подумать об Юлие. Вот кого нужно жалеть и любить Христине. В этом ее счастье.

– Нет... нет... Я покончу с собою...

Алина снова рассердилась.

Щурек вынес чемодан, Войцехова с неодобрением разглядывала автомобиль. Христина впала в мрачное отчаяние. Она сидела и думала, думала...

Алина тронула ее за плечо:

– Идем же, друг мой...

Они поехали.

На Алине было пальто дымчатого цвета, очень широкое, закрывавшее ее всю до узких ботинок, капюшон того же цвета что и подкладка – светлый тон со светлыми крошечными букетиками. Свою белокурую головку она упрятала в маленькую шляпку – грибок, а длинный шарф завязала у подбородка.

Мимо мелькали сады, дома, люди – Алина ничего не видела. Она улыбалась и грезила. Через несколько часов она будет в объятиях Шемиота.

Христина спросила:

– Почему ты не хочешь серьезно отнестись ко мне, Алина? Разве я не заслуживаю жалости?

Алина смутилась, Конечно, все это дико, нелепо, смешно,

но Христина несчастна... К ней нужно отнестись терпимо. Она возразила мягко:

– Я боюсь подобных разговоров, Христина...

– Я оскорбляю тебя?

– Н-нет... но ты выражаешь свою люб... свою дружбу так, что с закрытыми глазами тебя можно принять за мужчину... Ах, если бы твои слова говорил мне Шемиот.

Алина радостно засмеялась, а Христина подавила вспышку гнева и продолжала холодно:

– Мне необходимо твое присутствие. Я хочу видеть тебя каждую минуту моей жизни, всегда. Это я почувствовала с первой встречи. До тебя я не испытывала ничего подобного. Разве пансион... к одной классной даме... Я хочу знать твои мысли, желания, поступки. Я хочу служить тебе и оберегать тебя от всего злого. Иногда я хочу видеть тебя в постели, с твоими длинными волосами, крепкой грудью, овалами бедер. Я понимаю, что могла бы ласкать тебя так, как ни ты, ни я сама еще не знаю... но это было бы восхитительно... Понимаешь?...

Алина смеялась. Она уже не сердилась. Конечно, нелепо со стороны Христины говорить о любви, раз она, Алина, едет к Шемиоту... но Христина несчастна... и пусть говорит...

– Я написала тебе сотни писем, дорогая... но я не смею отдать их. Меня возмущает одно... уже много лет я люблю тебя, я целую тебя в губы, и ты не тяготилась этим... Сколько раз я раздевала тебя... Сколько раз я была при тебе, когда

ты сидела в ванне и напоминала няяду в раковине. Ах... Теперь ты встретила Шемиота и потеряла голову... Ты боишься расстегнуть при мне корсаж. Я целую тебя в затылок, и ты вздрагиваешь... я не знаю, может быть, даже от гадливости...

Алина не слушала. Она продолжала улыбаться своим мечтам, и ее глаза, синие, теплые, кроткие, мерцали таинственно и страстно.

Христина вспыхнула. Она грубо дернула ее за рукав:

– Очнись... да очнись же... или ты зверь? Мне тяжело... я страдаю, я брошусь под поезд...

Алина вздохнула.

– Что я могу, дорогая? – сказала она кротко. – Что я могу? Я твоя подруга, Я навсегда останусь ею... не больше... остальное для меня неприятно... и ничего не объясняй мне... прошу тебя...

Вокзал был почти пуст. Они прошли по перрону. Христина дрожала. Она не выпускала руку Алины, Кондуктор указал им вагон. В купе сидела какая-то дама.

– Который теперь час? – беспокоилась Длина.

– Восемь, – вмешалась соседка.

– В двенадцать часов я буду у...

Ночью! Христина побледнела еще больше. Она подумала – «Алина не вернется девственницей». Поезд тронулся. Христина выскочила, но еще побежала за ним, рыдая, с искаженным лицом, близкая к помешательству.

Расстроенная Алина вернулась на место.

– Это ваша сестра? – сочувственно спросила соседка.

– Да... кузина...

Алина испуганно покраснела.

– Вы надолго уезжаете?

– Надолго.

И Алина нетерпеливо закрыла глаза. Сейчас же она уснула тяжелым сном усталой батрачки.

На станции Алина подозвала жандарма и спросила, нет ли здесь лошадей из имения господина Шемиота. Лошадей не было. Удивленная и огорченная, она обратилась к начальнику станции. Очень обязательный чиновник успокоил ее. За хорошую плату лошадей можно достать немедленно. Потом он добавил, что молодой Шемиот и родственница Шемиота (Клара, подумала Алина) уехали в город, Знает ли об этом барышня?

Алина была смущена тем, как хорошо осведомлены здесь обо всем, что происходило в имении. Наконец ей подали лошадей, и она уехала, провожаемая колкой улыбкой начальника станции.

Алина не могла больше ни о чем думать. Когда она въезжала в усадьбу, ей захотелось выскочить из экипажа и убежать. Щеки ее пылали от стыда. Из темноты она услышала восклицания, лай собак, потом увидела на освещенной веранде Генриха Шемиота.

Он встретил ее спокойный, изысканно одетый, с книгой в

руке. У него был вид, словно Алина зашла к нему из соседнего дома.

– Вы не прислали за мной лошадей! – воскликнула она тоном упрёка.

– Я не был уверен...

– Как вы могли пригласить меня?

– Но, Боже мой, почему бы вам и не навестить старика?

Она опустила глаза, стягивая перчатки.

– Бедная Клара...

– Да, она серьезно заболела... Вы видели Юлия?... Отлично... Что вам, Викентий? А, сдачу с денег... для барышни. Лошади уехали? Хорошо... Пришлите сюда горничную... Покойной ночи, Алина...

И он удалился с поклоном, а она, ошеломленная, осталась на месте.

Кресло и стол на веранде были из тростника. Доски прогнили и пробивалась трава. Какая-то собака поднялась по ступенькам и приласкалась к Алине. Дальше шла темнота. Еще дальше сверкали огни. Алина поняла, что там паром. Но все это она воспринимала бессознательно. Она была удручена.

– Зачем я приехала? Генрих спрятался... Он вовсе мне не рад. Что я сделала?...

Появилась горничная, держа высоко лампу, и пригласила Алину в дом. Там стоял густой запах старой мебели, старых стен, старых тканей и книг. Кое-где блестела позолота рам,

бронза часов, край зеркала.

Алина повеселела, увидев комнату в два окна, оклеенную светлыми обоями, с мебелью розовой, выцветшей, но очаровательной. Пол закрывал ковер, по которому амуры вили венки из роз. Несколько наивных гравюр висело по стенам.

Горничная, назвавшись Франусей, принесла ужин – цыпленка с салатом, вино, сыр, вишни. Алина ела с аппетитом. Франуся объяснялась скромно и вместе с тем многозначительно. Ее глаза, крохотные и задорные, блестели среди круглых щек, вздернутого носа, пухлых губ. Она рассказывала, что первый раз служит в имении, скучает по городу и рада до смерти приезду барышни. Теперь не будет так скучно, разумеется... голос живой услышишь... Когда родственница барина лежала здесь, она, Франуся, подумала даже бросить место, так все пропахло лекарствами... желудочная болезнь... неопрятность...

Алина беспокоилась о своих помятых платьях. Франуся клялась, что разгладит их до девяти часов утра – барышня может положиться на нее.

– Благодарю вас. А когда встанет барин?

– Барии встает очень поздно. Он пьет кофе у себя.

Она собрала тарелки и ушла, пожелав покойной ночи. Алина осталась одна и не заперла дверь. Она решила всему покориться. Ах, все равно... ведь Шемиот женится на ней. В негодовании она уличила себя во лжи. Если она действительно его невеста, то зачем же она приехала сюда, как жен-

щина легкого поведения? Она устыдилась. Только бы он женился... После всего, что случилось, он должен поднять ее в ее же глазах. Ведь ее душа загрязнилась ради него. Она была раньше совсем дитятей, с печальным детством, суровой гувернанткой, дружбой Христины. Она довольствовалась садом, книгами, платьями, считала величайшим удовольствием прогулку в автомобиле или на пароходе. Жизнь представлялась ей сладким сном. Ее никуда не тянуло. У нее не было невозможных желаний. Но теперь явился Шемиот, и она кричит от любви, как разъяренная самка, и (самое ужасное) познавши сладость запрещенных мыслей и желаний, она не ощущает того, что бы ее оправдало, – она не хочет материнства.

Между тем Шемиот лежал на другом конце дома. Его рыжеватые волосы и сияющий лоб были смочены одеколоном. Он мучился мигренью и досадовал на самого себя.

Алина приехала... впрочем, он не сомневался, что к его приглашению она отнесется как к приказанию. Он ждал сильных ощущений – их нет. Всю спорную сладость обладания он познал уже мысленно. Действительность не даст ему ничего нового. Если же он воспользуется тем, что девушка влюблена в него, и не даст ей никаких обязательств, тогда получится второй экземпляр Клары. Целую ручки!.. Они загрызут друг друга. Надевать халат, туфли, красться в ее комнату... А наутро заплаканные глаза, упрекающее молчание, скорбные губы и ожидание, ожидание чего-то, чего никогда

не будет... Какая пошлость! И ради чего? Ради ее крика, крика потерянной девственности?... А вдруг он ошибается, и она даже не девушка?...

Шемиот перелистал несколько страниц и читал, думая об Алине.

– Единственно, что я мог бы сделать, это прийти к ней корректно одетый, спокойный, прочесть ей длинную нотацию о девической неосторожности и высечь ее среди смятых подушек и горячих простынь. Алина была бы прелестна в испуге. Она вся была бы смятение, любовь, стыд, покорность и мольба... Ах, Алина, вы в моей власти...

Он выпил воды. Сильно побледнел, но его мигрень стихла.

– Все это мечты. Действительность гораздо грубее. Быть может, Алина окажется совсем не сладострастной в боли, не покорной... начнет истерично кричать, грубо плакать... Я не знаю. Во всяком случае, нужно помедлить. Я хочу причинить ей самый глубокий стыд. В наказании, как и в сладострастии, важен стыд, а не боль. Боль даже отрезвляет. Я подожду... Я терпелив, Алина... Я ведь еще не слышал, как вы объясняетесь в любви. У нас много времени.

Алина проснулась рано. Через жалюзи сверкало солнце. Босиком она прошла к окну и потянула жалюзи кверху. И улыбнулась.

Вчерашняя темнота оказалась зеленью – яркой, темнее и совсем темной. На земле расстилались озера цветов. Ро-

зы, левкои, лилии, тюльпаны, мята, царские кудри, парижские красавицы, нарциссы, гвоздики, анютины глазки. Все это благоухало, шевелилось от ветра как ароматные волны, и было то в тени, то на солнце.

Алина задрожала от нетерпения, Ах, уйти скорее, скорее, смеяться солнцу, ветру, небу, саду, цветам. Одеваясь, она спрашивала себя, не сошла ли она вчера с ума?... Ведь она вообразила себя несчастной и погибшей. Это ложь. Генрих любит ее. В его годы не шутят. Конечно, он не бросился ей на шею, а убежал, подобно счастливому юноше. Тем лучше. Лишнее доказательство, как он взволнован и серьезен.

Франуся принесла ей кофе и великолепно разглаженные платья. Алина болтала с нею дружески. В усадьбе злые собаки? Нет, злые на цепи, спускаются только ночью, а остальные даже не лают. Барышня может спокойно идти и направо, и налево, и к полю, и к гумну. Пусть только барышня не пугается, если увидит ужей. Их тут множество.

Алина бросила последний взгляд в зеркало. На ней было белое муслиновое платье с узенькой фиолетовой бархоткой под грудью и длинный шарф с каймой, как у женщины Первой Империи.

Небо напоминало чистую твердую эмаль и лишь к горизонту слегка розовело и туманилось. Только под старыми деревьями можно было укрыться от солнца, расплавленного золота, льющегося на землю. Алина удивилась тишине. Вокруг барского дома, где она ночевала, и вокруг флигелька не

было ни одной постройки.

«А где же экономия?» – подумала Алина с беспокойством хозяйки.

Она увидела ее и гумно за садом, поднявшись в гору. Дорога вела между двумя рядами старых акаций. Глубокие канавы наполнились травой, ромашками, незабудками, колокольчиками и лютиками. Развалившийся плетень скрылся под густой сеткой темно-синих и лиловых вьюнков. Несколько раз Алина останавливалась. Великолепные, блестящие ужи, чуть-чуть шевеля головками и язычком, грелись на лопухах. При шорохе ее шагов они соскальзывали в траву и исчезали, задевая былинки. Хотелось взять в руки чудесных, ярко-зеленых ящериц, до того они выглядели нарядными и милыми. Маленькие птички порхали, щебетали, дрались и любили друг друга в кустарниках.

Около высокого креста Алина села.

Это был пункт, с которого имение Шемиота виднелось, как на карте.

Крыша дома среди зелени напоминала красную черепашку; экономия за садом примыкала к влажному, свежему лугу, а дальше шла хороню выбитая дорога. Река, темно-синяя посередине, к берегам становилась мутно-желтой. Спуститься к ней по крутизне казались очень трудным, а деревья, растущие в оврагах, уменьшались до размера обыкновенных кустов. Алина была довольна. Она не подозревала, что у Шемиота такое крупное, хорошее имение. Он говорил о нем с

небрежным видом, словно о глухой и заброшенной деревушке. Алина инстинктивно ненавидела бедность, как безобразия, зависимость, нечистоплотность. Часто она опасалась, не была ли нерешительность Шемиота следствием его денежного неравенства. Но теперь она успокоилась.

Странный звук, похожий на расщепление дерева, заставил ее оглянуться.

Маленький ослик пробирался среди кукурузного поля, шевеля длинными ушами и смотря удивленно на Алину своими черными бархатными глазами. Боже, до чего он был трогателен! Алина поднялась и пошла к нему с намерением обнять и расцеловать это смиренное животное. Но ослик не спеша повернул наискось, не желая подвергать себя опасности. Через несколько шагов он остановился и завопил от радости, спугнув птичек.

Алина пошла обратно.

Около дома она встретила Шемиота. Он разговаривал с крестьянином, но его жесты, наклон головы оставались такими же чопорными, по-старомодному вежливыми, как и в гостиной.

– Доброе утро, Алина... вы чудесно выглядите.

Она покраснела, удерживая себя от желания опустить глаза.

– Благодарю вас. Я спала как убитая.

– Я в вашем распоряжении только до завтрака, дорогая... потом займитесь чем-нибудь сами... Я запираюсь в кабинете

и работаю.

– Я охотно посидела бы около вас.

– О, будьте благоразумны. У нас еще много времени.

Ей захотелось уколоть его:

– Я уеду сегодня... с ночным поездом...

– Что ж... как хотите...

Он казался совершенно неуязвимым.

За завтраком, между бульоном и фаршированным цыпленком, он прочел ей маленькую лекцию о «женском вопросе» – как он его понимал, Он вовсе не против эмансипации (смешное, старое слово), он меньше, чем кто-либо, хочет запереть женщине двери в парламент, на профессорскую кафедру или отказать ей в звании полковница. Наоборот! Чем энергичнее, тоньше, умнее, изысканнее женщина, тем больше наслаждения даст она мужчине. Но совершенства она должна достигать с его помощью и даже через него, в нем. К мужчине, как к солнцу, она всегда должна тянуться. Если женщина любит, пусть она удвоенно обострит свои умственные, духовные и физические достоинства. Она обязана заслужить права на любовь мужчины. Он говорит, разумеется, не о тех несчастных, которые любовь считают синонимом гигиены. Между прочим, он допускает, разрешает и понимает тип женщины неверующей. Религию она заменит любовью, мужчину сделает богом и властелином. Мужчины от этого мало проиграют.

Алина смутилась.

Она понимала, что за всеми его небрежными фразами скрывается нечто, особенно близко, интимно касающееся ее саму.

Когда он заперся в кабинете, она ушла к себе, возненавидела солнце, небо, чужую усадьбу и пролежала на постели, как мешок с картофелем.

В четыре часа Франуся принесла ей чай, фрукты, конфеты.

– У барышни, голова болит?

– Немного.

– Барышне было бы лучше выйти на воздух.

«Она права, – раздраженно подумала Алина, – это похоже на то, что я сижу в заточении...»

Она сейчас же отправилась изучать цветники с робкой надеждой увидеть Шемиота. Жалюзи его окон были спущены. От цветов шел более сильный аромат, чем утром. Тюльпаны, прежде полуоткрытые, теперь зияли как рана. Тоска охватила ее с прежней силой. Снова она вернулась в комнату. Этот день измучил ее, казался бесконечным. Когда ее попросили обедать, ей уже было все равно, так она загрустила. Обед накрыли на веранде, очень городской обед, с чашками воды для умывания рук, с семью блюдами, зеленью, шампанским.

Шемиот выглядел озабоченным. Он беспрестанно говорил о том, как должна страдать Клара в госпитале, и удивлялся, почему Алина не навестила ее.

Она прямо посмотрела ему в глаза:

– Мы не дружны с Кларой...

– Почему?

– О... самая вульгарная причина... ревность...

– Вы правы, Алина. Это очень вульгарно.

Неожиданно он вынул из бокового кармана и передал ей маленькую книжечку в зеленой коже с вензелем цветного золота.

Она взяла и перелистала, бледнея. Она думала, что найдет там таинственные адреса или умышленно забытое письмо какой-нибудь женщины.

В зеленой книжечке Шемиот записал все, что ему не нравилось в Алине, – ее неудачные жесты и выражения, ее легкомыслие, чисто животное спокойствие, равнодушие ко всему, что не касалось ее, и т. д., и т. д. Под последним числом там стояло: «Она не навестила больную Клару». Алина была потрясена. Слезы выступили у нее, крупные и яркие. Как он заботился о ней. Как он думал...

Трогательным жестом, словно целуя молитвенник, она поцеловала эти странички...

Не переставая улыбаться глазами, Шемиот журил ее. Да, она поступила легкомысленно... Она влюбилась – это простительно... Она созналась ему... первая... без его желания – это уже почти дурно. Теперь она приехала в имение... Ах, какая девическая неосторожность... Она губит свою репутацию чересчур легко... он не выносит женщин с двусмысленным поведением. И наконец, главное – она врывается в

его жизнь не спрашиваясь, она настойчива в своей любви к нему, но он не любит настойчивых... он не дал ей права преследовать его. Она отрывает его от дела, от книг, от его привычек, она прямо-таки назойлива. Можно сказать и подумать, что она хочет женить его на себе... Боже, он не позволит ничего подобного...

А сам думал, замечая, как Алина подавлена: «Ее внушаемость поразительна».

Он добавил, накладывая мороженого, что покуда Алина еще ничем не заслужила его любви. За кого она считает его? ... Многое в ней не нравится ему... ей необходимо измениться, она ребенок, который нуждается в строгом руководстве.

– Это правда, – шепнула Алина, сраженная его словами, чувствуя всю его правоту, умирая от раскаяния, – это правда... вы поможете мне исправиться.

Первый и последний раз Шемиот мысленно пожалел ее. Он сказал задумчиво:

– Если бы вы попали в монастырь, вы бы стали святою; если бы вы жили во времена Сафо, вы бы служили Афродите, как Билитис. А теперь я не знаю, что из вас получится, Алина...

После обеда он повел ее осматривать усадьбу другой дорогой, но тоже усаженной акациями. Когда встречались рабочие, он кланялся им с вежливостью равного.

Алина внимательно разглядывала кукурузное поле, постройки, большой квадрат гумна, поросший свежей невысо-

кой травой. Солнце уже село. Лиловый оттенок примешался к синеве теней. Где-то снова кричал ослик.

Они поднялись в гору. Около креста Шемиот разостлал плащ. Алина села. Они долго смотрели на реку и деревья.

– А вот и орел, – сказал Шемиот. Птица делала сначала маленькие круги, потом все шире и шире, поднимаясь все выше, выше и наконец слилась с небом.

– Какой воздух!

– Какой воздух!

Он снял свою черную бархатную шапочку. У нее явилось огромное искушение поцеловать его сияющий лоб и пушистые волосы. Она почувствовала, что никого никогда не полюбит так, как Шемиота, и не нужно протестовать или бороться, а принять эту любовь и смириться.

Вечером того же дня она уехала обратно в город.

В доме все было благополучно. Войцехова рассказала, что Христина вчера долго сидела в саду. Молодой господин Шемиот справлялся по телефону о барышне. Женским инстинктом Войцехова угадала, куда ездила Алина.

С невинным видом она спросила:

– Барышня все-таки решила выйти замуж за господина Шемиота?

И на возмущенный окрик Алины забормотала испуганно:

– Сердце Иисуса... Барышне теперь не угодишь... Почему бы барышне и не выйти замуж в самом деле?...

Алина прогнала ее и пролила потоки слез. Несколько дней

она не давала знать о своем приезде Христине. Ее самолюбие страдало. Однажды Войцехова взволнованно доложила о приходе господ Оскерко.

Христина стояла посередине гостиной с видом малознакомой дамы. Она осунулась, пожелтела и плотно сжимала губы. Витольд рассматривал альбомы.

– Боже, с каких пор вы так церемонитесь со мной?

– Извини... мы не знали, одна ли ты.

– Но с кем же я могла быть?...

Все втроем они сидели на террасе, пили чай и говорили о пустяках. В саду Щурек починял скамейку, и Витольд вдруг сорвался с места и пошел давать ему указания.

Христина начала изводить подругу:

– Как, ты проводишь день и ночь с Шемиотом... И ты хочешь уверить меня, что вы вели себя ангелами... Я еще не рехнулась, Алина.

– Но я не лгу, дорогая...

– Он женится на тебе?

– Я не знаю.

– Как?... Ты ошалела?... Ты не знаешь?...

– Нет... нет... не мучь меня, Христина...

– И что будет дальше?

– Не знаю.

– Это чудовищно. Я предсказываю тебе... Шемиот готовит тебя на роль Клары...

Желая переменить разговор, Алиия спросила ее о Бруно.

Как живет маленький? Почему она не привела его с собою? Христина сделала скучающее лицо. Бруно гостит теперь у доктора Мирского. Тот очень любит мальчика. Он находит, что Бруно – великолепный экземпляр вырождения. Из него может получиться и гений, и безумец. Потом Христина нагнулась и поцеловала шарф Алины. Та рассердилась, встала и пошла к Витольду. Щурек жаловался на новое место. Заметив приближение барышни, он напустил на себя еще большее неудовольствие. Да, господин Шемиот умел ценить его... а здесь Войцехова перегрызет ему горло, кухарка заставляет выливать помои. Алина прогнала из сада Щурека и ласково взяла Витольда под руку.

– Щурек прав... Войцехоца стала невыносима. Она шпионит за мною, бьет маленькую судомойку... Я рада была бы отделаться от Войцеховой.

Витольд рассеянно перебирал ее пальчики. Он относился к Алине очень сочувственно. Однако для него она не была женщиной. Он любил маленьких, плоских, алых, растрепанных, похожих на мальчишек, и делал исключение только для Мисси Потоцкой, которую упорно обольщал второй год. Он хотел жениться на Потоцкой, считая ее идеальной женой для светского человека, но в то же время его смущали советы Христины. Он твердо перил в практический ум сестры. Жениться на Алине? Почему нет? А вдруг это судьба... Потоцкая была бедна, Алина богата.

Он спросил Рущиц интимным тоном:

– Почему вы не сложите с себя груз будничных забот?

– Каким образом?

– Найдите себе мужа.

Она принужденно рассмеялась:

– Разве легко?

Он понизил голос:

Я давно догадался о ваших чувствах к Шемиоту. Скажите, это серьезно?

Она была счастлива говорить о Шемиоте. Витольд слушал ее с изумлением. Она казалась ему эксцентричной. В свою очередь, он поделился планами насчет Мисси Потоцкой. Они шли вглубь, тесно прижимаясь друг к другу, каждый жалуясь на свою судьбу.

– Почему вы так редко заходите ко мне? – воскликнула она, наконец, растроганная. – Я вас считаю своим братом.

– Не замечаешь, как погрязает в суете, – вздохнул он. Потом Витольд начал осуждать сестру. Зачем Христине понадобилось мучить Юлия Шемиота? Он блестящая партия для Христины. Конечно, Витольд хорошо знает свои братские обязанности, но Христина часто несносна и устраивает в доме ад. Если Юлию надоест эта комедия, он, Витольд, не удивится.

Христине надоело ждать их. Она окликнула брата злым голосом и сейчас же простилась. Ачина осталась сидеть на каменной скамье. Какая-то птица томилась в кустах. Разгоряченная разговором о Шемиоте, Алина прикрывала глаза.

Ей казалось, что он осторожно и медленно целует ее и губы.

## Четвертая глава

Дождь лил не переставая. Веранду заперли, ибо вода протекала в комнаты. Удивительно, как деревья сада не устали качаться, сгибаться и кланяться земле. Алина полулежала, кутаясь в горностаевый палантин, испытывая непобедимое желание плакать. Мысли ее, как всегда, возвращались к Шемиоту и Кларе. Печальные новости.

Клара была при смерти.

Вчера Юлий сообщил Алине, что он вызвал отца. Даже к умирающей Алина терзалась ревностью. Останется ли Генрих около больной неотлучно или навестит Алину?

Она напрасно ждала его всю неделю.

Так как дождь не прекращался и каждый день проходил одинаково, время слилось для Алины.

– Господин Шемиот спрашивает барышню.

В глазах Алины зарябило:

– Как, ты оставила его внизу? Ты должна была просить его сюда... ко мне.

Войцехова пожала плечами. Она ворчала язвительно:

– Господин Шемиот и сам найдет дорогу, не впервые...

Шемиот с большой неожиданностью поцеловал руку Алины.

– Простите мой нежданный визит... я даже не предупредил вас по телефону... я очень сконфужен.

Выяснять, что происходит в лечебнице св. Винсента, она

не хотела из-за смутного стыда и ожидания неминуемой катастрофы. Но тут появилась Войцехова...

– Наконец-то... я решила, что вы уехали.

– Умерла Клара. Я весь еще под этим впечатлением. Я не ждал такой скорой развязки...

Он сказал это просто, безо всякий аффектации. Пораженная, она искала в его глазах хотя бы намек на душевную муку. Ее не было.

У Алины полились слезы, не от облегчения, не от горя:

– Умерла... Какой ужас... Когда ее хоронят?...

– О... но ее уже похоронили... вчера утром... разве не читаете газет?...

Правда, последние дни она не читала газет. И она рассердилась. Почему же ей не дали знать? Она хотя бы цветов привезла на могилу.

– Вы меня смешите, Алина... вы не навещали покойную в лечебнице при жизни, так что нам до ее похорон?...

Сконфуженная, она продолжала плакать.

Шемиот рассказал подробности. К несчастью, труп весь изрезали... Ах, эти палачи... эти хирурги... покойная начала сейчас же разлагаться... Хорошо еще, что погода стояла холодная... в именин дороги размыты, ему пришлось ехать паромом... Тот застрял на мели... едва не было серьезной опасности... Такая скука в деревне, что он даже обрадовался городу.

Алина вытерла слезы. Она успокоилась и не хотела лгать

себе. Да, смерть Клары явилась огромным и неожиданным облегчением. Она боялась теперь одного, не слишком ли страдает Шемиот? Конечно, он должен терзаться сожалениями, воспоминаниями, ведь все же, по слухам, он был близок к покойной... Ах, не нужно оставлять его одного...

Она робко протянула руки:

– Возьмите меня с собою... умоляю вас...

– Куда? В имение?... Но это безумие... Что вам вздумалось?

Она молчала.

– Вы скомпрометировали себя, Алина уже в первый раз... вас заметили на станции... о вас болтала дворня... А теперь, когда Клара только умерла... Нет... нет...

– Но мне безразлично, что скажут на вашей станции, – возмутилась она, все равно... я хочу быть около вас в такие минуты.

– Какие минуты, Алина?... Вы сентиментальны... стыдитесь, я умею переносить неприятности.

Видя его спокойным, обычным, она тоже улыбнулась. Да, конечно, он мужчина.

Шемиот остался завтракать, про себя забавляясь растерянностью Алины. Теперь она будет ломать голову над вопросом, почему он не хочет ни жениться, ни сблизиться с нею.

Войцехова умышленно медленно служила им. Чтобы не звонить ей, Алина вставала и брала нужное с серванта. От

ливня в столовой были сумерки, поблескивал только хрусталь на столе.

Шемиот спросил о Христине. Как она и что? Она по-прежнему внушает ему глубокую антипатию, но, если Юлий потерял голову, пусть берет ее и жены – он мешать сыну не станет. Для него важнее сохранить его привязанность и уважение.

После десерта они перешли в кабинет.

– Помните весну, Алина?... Мы здесь сидели очень дружно... вы рассказывали мне о своем детстве... и была гроза...

Она схватила его руки и покрыла их поцелуями:

– Помню ли я... помню ли я...

Он отнял руки, отступая, чуть-чуть манерный, мгновенно молодея:

– Успокойтесь, Алина... вы мне льстите... я стар...

Она говорила, говорила... о любви, о тоске, о том, что нужно что-то выяснить между ними, что-то объяснить, чему-то положить конец... И все сводилось к тому, как ей хочется поехать к нему в имение.

Лицо Шемиота было непроницаемо. Но он внимательно смотрел на Алину. Она ему нравилась сегодня гораздо более, чем обычно. На ней было простое платье, дымчатое либерти, вышитое белым стеклярусом, плечи, грудь, рукава из белого шифона. Она надела только нитку жемчуга, не крупного, но ровного, розового, который казался Шемиоту теплым.

Так как он молчал. Длина совсем потерялась:

– Побраните меня... я безумна... я смешна... побраните меня...

Он заметил холодно:

– Вы заслуживаете строгого выговора, это правда... вы ведете себя эксцентрично... почти истерично... я прямо-таки неприятно поражен... Я настойчиво предлагаю вам подумать о вашем поведении. – Он помедлил. – Алина... Иначе...

– Иначе?... – переспросила она Шемиота.

Иначе я накажу вас, – ответил Шемиот. Он даже удивился эффекту своих слов. Из бледной она сделалась пунцовой, из пунцовой снова бледной и не поднимала на него глаз.

После паузы он продолжал:

– Кто наказывает, тот любит. Это аксиома. Вы мне дороги, Алина... я забочусь о вас... я не допущу, чтобы вы сами себе коверкали жизнь... Разве я не ваш друг?... Я готов прибегнуть к самым суровым мерам, но я не позволю вам быть смешной, жалкой женщиной. Повторяю, еще одна выходка... и я накажу вас...

– Простите меня... простите...

– Сегодня я прощаю... последний раз...

И он торопливо удалился, не желая ослабить впечатление этой сцены.

Алина еле дотащилась до дивана. Она бросилась ничком и спрятала лицо в шелковой подушке, оборки которой кололи ей щеки. Стыд сжигал ее. Он сказал ей ясно: «Иначе я

накажу вас». Он сказал как человек, который знает, что говорит и делает:

– Иначе я накажу вас.

Крошечный эпизод из ее детства всплыл перед нею. Однажды по случаю дурной погоды ее не пустили гулять, а оставили играть в зале. Он был огромный, прохладный и торжественный, с круглой эстрадой из светлого дерева, с высокими зеркалами и столиками из драгоценной мозаики. Здесь же на большой картине императрица Мария-Луиза обнимала маленького римского короля. Оставшись одна, Алина стремительно закружилась по паркету, на который лег тончайший слой пыли, посмотрелась в каждое зеркало по очереди и удивилась тоненькой девочке с синими глазами и поясом под грудью. Потом она бросилась ничком на медвежью шкуру, декламируя стихи и посылая воздушные поцелуи в пространство. Но сейчас же она вскочила как ужаленная, с бьющимся сердцем. Она вспомнила, что в такой же позе она лежит на кушетке мисс Уиттон. Она закричала, она заплакала, она согнулась от щекотания в своем теле.

Теперь взрослая Алина, думая о наказании Шемиота, также согнулась и также вся затрепетала от нервного щекотания, стыда, страха и ожидания. Она спрятала лицо в шелковую диванную подушку, сборки которой кололи ее щеки.

Он посулил ей наказание... Как это будет? Не окажется ли он чересчур мягким? Не испугается ли он ее криков? Она не могла тронуть слезами мисс Уиттон, а его? Будет ли он

наслаждаться ее стыдом и болью? Положит ли он ее на кушетку или на колени? Или он велит ей самой лечь и поднять платье? Позволит ли ее рукам быть закинутыми за голову, или же он возьмет их в свои? Велит ли он молчать? Будет сечь он быстро, резко, или с паузами, как мисс Уиттон? О, Боже! Она сходит с ума. Боже, сжался надо мною!..

Она начала рыдать, проникаясь иллюзией, что ее сечет Шемиот, вся в поту, несчастная, безумная и сладострастная.

Последующие дни Алина переживала отчаяние. Она не выходила из спальни, не одевалась, не причесывалась, вынула штепсель телефона, запретила принимать Христину. Она только теперь поняла, да какой степени тайно ждала смерти Клары. Но вот эта несчастная умерла, и ничто не изменилось. Шемиот живет в имении. Юлии ухаживает за Христиной. Витольд бредит Потоцкой. А она, Алина, она плачет днем и ночью.

Как-то раз совсем неожиданно Войцехова доложила через запертую дверь, что Щурек требует расчета. Господин Шемиот снова в городе, и Щурек хочет проситься к нему обратно.

– Прогоните этого идиота, – закричала Алина в неистовстве.

До вечера она вздрагивала при каждом звонке.

Она ждала Шемиота.

Он не приехал.

Она спросила по телефону. Голос Щурека ответил на-

смешливо, что барин в имении.

На другой день, бледная как полотно, с судорогой в горле, она вышла из дому.

Она не помнила, как очутилась на главной улице, широкой, нарядной, с зеркальными витринами, опущенными маркизами, правильной аллеей подрезанных акаций. Здесь был сквер – круглая площадка, фонтан, цветники, скамейки. Няни катали колясочки или вели за руку более взрослых детей. В глубине грибом вырос павильон, где продавали мороженое, кофе, шоколад. На Алину оглядывались. Все на ней было белое – маленькая соломенная шляпка с бутонами, шелковый развевающийся плащ, перчатки, замшевые башмачки, сумочка на тоненькой серебряной цепочке и, наконец, жемчуг, который она прикрыла вуалью. Мимо нею катились экипажи, велосипеды, гудели авто. Густая зелень, все еще яркая, куски неба между нею, как голубой шелк, и сверкание фонтана на солнце придавали этому уголку вид театральной декорации. Около тротуара на длинных столах торговли выставили глиняные кувшины с розами, левкоями, гвоздиками и листьями папоротника.

Алина вдруг остановилась:

– Что со мной?... Ведь Христина живет совсем в другой стороне города...

В доме Оскерко она застала полотеров. Они, двигая мебель, низко кланялись этой красивой, нарядной, смертельно бледной даме. Где-то звенели ножами и тарелками, накрыва-

ли к завтраку. Горничная прибежала сказать, что барышня вышла в магазин.

Алина постучалась к Витольду.

Витольд сидел за письменным столом, защищенный книгами. Перед ним стоял стакан молока, и он рассеянно, по-детски, опускал туда длинный сухарь, не отрываясь от чтения.

Он произнес, не поднимая головы, уверенный, что перед ним стоит горничная:

– Вы отпустили полотеров? Она ответила медленно и нежно:

– Нет еще, барин...

Витольд вскинул глаза и рассмеялся. Он расцеловал ручки Алины. Как она мило поступила, навестив их...

Бросившись в кресло, она изливалась в жалобах на пустоту ее жизни. Он поддакивал, думая: «Нас разберет Христина. Я начинаю не понимать Алину... ведь она была влюблена в Шемиота без памяти... или она уже остыла к нему? Теперь она льнет ко мне... я боюсь потерять Потоцкую... Ах, эти девушки в двадцать восемь лет...»

Пришла Христина. Подруги обнялись. С того дня Алина почти не расставалась с Оскерко.

Втроем они совершали прогулки за город, посещали маленькие театры, часто ездили в ресторан, который стоял над самым морем и пользовался двусмысленной репутацией. Здесь они ели устрицы, поданные на блюде сомнитель-

ной чистоты, пили очень плохое шампанское и оставались голодны, ибо все кушанья изготовлялись на кокосовом масле. Когда Алина и Христина проходили мимо столиков, мужчины смотрели на них с восхищением, Витольд чувствовал себя польщенным. С террасы виднелись купальни. Некоторые мужчины отплывали на лодках и потом бросались в море. Они не носили костюмов. Алина со страхом смотрела на этих Адонисов, которые проделывали различные антраша в синей пучине. Христина вырывала у нее бинокль, бормоча: «Как тебе не стыдно». Кое-где сновали яхты частных лиц, убранные флагами, с пением и музыкой. Самыми красивыми, по мнению Алины, были паруса – одинокие, загадочные паруса, уплывавшие к горизонту. Потом во всех этих увеселительных прогулках, в этих не совсем чистых удовольствиях начал принимать участие молодой Шемиот. Он по-прежнему ходил по пятам за Христиной. Алина, впрочем, иногда ловила его взгляд, дружелюбный и смеющийся. Он порою говорил ей смелые комплименты.

– Если бы нас услышал отец...

– Он бы понял меня...

– Разве он не строг к вам?...

– Ничуть. Он строг только к женщинам.

Алина вспыхнула:

– Вы со всеми так дерзки?

– Нет. С красивыми.

– Было время, когда вы не находили меня красивой...

– Я считал вас чересчур невинной.

Она грустно улыбнулась.

Они смолкли и слушали музыку. Это был очередной симфонический концерт в городском открытом театре. Белые полосы лунного света, пробиваясь сквозь листья, ложились на колени Алины. Она прикрывала глаза, чтобы слушать нежный шепот Юлия... Потом она посмотрела на него. Сейчас он напоминал ей Генриха. У нее вырвалось против воли:

– Я написала множество писем нашему отцу. Ни на одно он не ответил.

Юлии возразил насмешливо:

– Он тоскует по Кларе...

И сейчас же, испугавшись эффекта своих слов:

– Отец ненавидит переписку. Почему вы просто не поедете к нему?...

– Я... Что вы...

Она притворилась оскорбленной. Юлий сознался, что знает о ее первом приезде в имение. Ему сказали и на станции, и в экономии, конечно... Но он не винит Алину... Что же тут особенного?... Она любит его отца. Он нежно клялся ей в преданности:

– Поедем вместе... отец будет рад.

Он приставал с этим предложением целый вечер, не давая Алине слушать музыку и сильно интригуя Христину, сидевшую в другом ряду. Алина затосковала. Они вышли.

– Как жарко, – бормотала Алина.

И через минуту:

– Дайте мне накидку, мне холодно.

Они ели мороженое возле мраморного столика в павильоне. Юлий жаловался. Он несчастен, он несчастен... Христина груба с ним...

Потом неожиданно:

– Мой отец будет мучить вас, Алина, так же, как и Клару. Когда вы наскучите ему...

– Молчите... молчите...

И снова в ту ночь она не сомкнула глаз.

Алина продолжала веселиться весь август. Она добросовестно хотела забыть Генриха Шемиота. Она беспрерывно наряжалась, сервировала дорогие ужины, украшала столы цветами. В день своего рождения – пятнадцатого сентября – она раздала прислуге ценные подарки, убрала сад фонариками, а дом белыми розами, и все для того, чтобы на другой день бродить с мрачным видом нищенки.

Однажды Витольд повез ее в оперетку. Оттуда они вернулись около полуночи. Алина умирала от усталости, однако упросила его зайти к ней.

– Как, сейчас?... Разве не поздно?...

– Нет, не поздно...

– А что сказал бы ваш старик? – легкомысленно спросил Витольд.

Старик... Алине показалось, будто Витольд ударил ее по лицу. Настроение ее сразу упало. Войцехова открыла дверь.

Она сейчас же демонстративно ушла, считая барышню погибшей.

Алина провела Витольда в маленькую, круглую гостиную – розовато-желтую, жеманную и легкомысленную, где было четыре зеркала, как в фонаре. Дорогой фарфор прятался в пузатые шкапчики стиля Людовика XV, и улыбающиеся маркизы на картинах ласкали своих левреток длинными выхоленными пальцами. На розовом ковре пастушка слушала свирель Пана.

Алина достала ликер, бисквиты. Она выставила свою ножку и тешилась ролью соблазнительницы. Витольд колебался. Он не знал, как вести себя. Впрочем, завтра он пришлет сюда Христину. Если Алина откажет ему, он может с чистой совестью вернуться к Мисси Потоцкой. Он плывет по течению. Но нужно ли противиться своей судьбе?

В ту же минуту Алина думала с горечью: «О, Генрих, Генрих, вы толкаете меня на падение. Какие еще новые унижения готовите вы мне?»

Наконец Витольд ушел.

Алина осталась в гостиной. Что она делает? Глупость за глупостью. Флиртует с Витольдом, флиртует с Юлием, бегаёт по ресторанам, как девка. Вины ее неисчислимы.

Беспорядочно проведенный вечер, выпитый ликер, духота гостиной, раскаленной еще до сих пор от дневного солнца, неудовлетворенная любовь, неудовлетворенные желания привели ее в сомнамбулическое состояние. Она не хотела

двигаться. Ей казалось, что пройти в спальню страшно далеко, целое путешествие это – пройти в спальню. И она продолжала полулежа думать о своих винах перед Шемиотом. Почему она должна огорчать того, кого она любит больше всего на свете? Почему она такая ничтожная и дурная?

Они заснула вся в слезах, не потушив электричества, поджав ноги, в самой неудобной позе на диванчике стиля Людовика XV. Но и во сне тоска, раскаяние, жажда наказания продолжали мучить ее.

Она видела себя девчонкой, послушно стоящей в комнате миссис Уиттон, где вся мебель, портьеры, обои и даже ассирийские вязы пылали желтыми оттенками.

Миссис Уиттон, облокотившись на рояль, говорит вежливо, не повышая голоса, чуть-чуть улыбаясь:

– Вы дерзки и рассеяны, Алина... вы горды и любопытны, вы лгунья и лакомка. Ваши локоны спутаны, ваше платье смято. Я не потерплю, чтобы вы смотрели на меня так угрюмо... А, вы плачете?... Вы раскаиваетесь?... Вы обещаете слушаться?... Теперь это не поможет. Прилягте на кушетку, однако...

И стыд, и покорность, и боль, и блаженство наказания, и радость прощения.

Алина проснулась.

Она поднялась смущенная, будто вырванная из объятий любовника, потушила электричество и пошла в спальню. На мраморных часах стиля ампир стрелка стояла без пяти

минут четыре.

Христина застала Алину еще в постели.

– Вот и отлично. У меня к тебе дело.

– Дело?... В такую рань?...

– Да.

– Говори, но я не открою глаз.

Очень недовольная, Алина укуталась в одеяло.

– Глаза закрой, пожалуй... мне нужны твои уши... Мой брат, инженер и дворянин Витольд Оскерко, делает тебе предложение...

– Святая Мария...

От изумления Алина села, и ее сон прошел мгновенно. Христина отвела взгляд от ее обнажившейся крепкой груди, от пышных плеч, на которые сквозь голубые занавески кровати лились голубые оттенки. Внутри белоснежная глыба одеяла, подушек, кружев создала впечатление гнезда, выложенного пухом.

– Надеюсь, ты не откажешь Витольду после вчерашнего?

– Но что же было вчера?

– Как, ты ночью принимаешь молодого человека, поишь его ликером, даешь целовать ему руки, говоришь с ним только о своем одиночестве и желаниях... и после этого ты хочешь отказать ему?... Но ведь Витольд не мальчишка, не Юлий. Он не позволит вертеть им... И потом он влюблен в тебя... давно... как я... да, как я...

Алина сидела удивленная и растерянная, доверчиво по-

казывая свою наготу Христине. Пепельные длинные распущенные волосы, синие цветы ее больших глаз, здоровый румянец ее щек как-то опростили ее в ту минуту, сделали ее до последней степени земною и греховною, похожей на молодую ведьму Ропса, читающую св. Адальберта.

Алина думала: «Теперь или никогда. Если я соглашусь на предложение Витольда, я проверю чувства Шемиота. Витольд мой последний козырь. Я пускаюсь на хитрость. Да, потому что я люблю насмерть... Христина простит мне обман, я знаю... и Витольд простит...»

Медленно она сказала:

– Хорошо, Христина... передай Витольду мое согласие... обожди минутку... Ах, как все странно!.. Я согласна... умоляю тебя, однако, сохраним эту помолвку в тайне.

– О, да...

Христина бледнела. С неестественной улыбкой она опустилась на колени перед кроватью, повторяя:

– Благодарю тебя, Алина... благодарю...

Алина начала лукаво смеяться, вырывая у нее свои руки, откидываясь на полушки. Она была заинтересована, чем все это кончится, и слегка опьянена новизной положения.

Христина повторяла сдавленным голосом:

– Благодарю тебя, Алина... благодарю... Она тянулась к ней, сдерживая хриплый, дикий крик, полурыдание, бледнея все более и более, дрожа и повторяя одно и то же:

– Благодарю тебя, Алина, благодарю...

Христина прижималась пылающими губами к ее коленям, потом она целовала атласный живот, таинственный треугольник, щиколотку...

– Ты с ума сошла, – воскликнула Алина, не двигаясь.

«Это тоже вина, – думала она, – я расскажу Шемиоту...

О, Генрих...»

Христина нагнулась ближе, толкая ее лечь ничком.

– Ляг... ляг... одну минуту... ты так красива.

Лечь ничком – это было всегда соблазнительно для Алины.

Розовая и смущенная, она боролась.

– Нет... Нет...

– Да... Да...

Град поцелуев и легких укусов посыпался на ее спину, бедра, ноги, на этот вздрагивающий затылок, на закинутые бессильно и беспомощно руки.

– Что ты со мной делаешь... Боже мой, Боже мой... – стонала Алина, содрогаясь от мысли и это рассказать Шемиоту, все рассказать...

То, что проделывала с нею Христина, до такой степени не задевало и не затуманивало ее души, что мечты Алины бродили возле Шемиота... Как он примет ее, Алину?... Что он скажет теперь, когда Витольд сделал ей предложение? Как он накажет ее. Ах, пусть он заставит ее быть послушной...

– Я устала, Христина... Пусти меня...

Теперь Христина взяла ее и свои объятия, как ребенка, и,

закидывая голову Алины, впилась в ее губы и жалила сухим языком.

– Нет... нет... я рассержусь... оставь... я возненавижу тебя...

Христина посмотрела на нее с ужасом. Она была еще бледна, с затрудненным дыханием.

– Не говори так... я ни в чем не виновата... я зарыдаю.

– Не простируй слез...

Усталым жестом Алина закладывала свои волосы. Христина натягивала ей шелковые чулки, завязывала ленты сиреневых подвязок. Она подала дневную рубашку, батистовую с кружевами, тонкий бюстгальтер, сиреневое трико. Она прислуживала с опытностью служанки, счастливая тем, что Алина развеселилась, осыпая подругу нежными именами.

Умывание, прическа, маленькое препирательство по поводу того, выбрать платье манке или белое, шутливая размовка над камнями-сапфиры, топазы или жемчуг? Наконец, примирительный поцелуй перед тем, как сойти вниз.

Покуда Христина глубоким, взволнованным голосом говорила с Витольдом по телефону, Алина поспешно прошла в гостиную.

Осторожно отодвинув штофную розово-желтую портьеру, она оглянулась с неопределенной улыбкой сообщницы. Драпри, ковер, мебель, вся комната, казалось, таили до сих пор жар осеннего дня, жар неудовлетворенности, жар сна Алины, Ликер, бисквиты, тоненькие рюмочки на сереб-

ряном подносики, пепельница полна окурков – все стояло нетронутое. И букет белых гвоздик, увядших без воды на круглом пуфе среди искусственных цветов шелковой ткани. И горностаевый палантин, и белая, длинная перчатка Алины, сохранившая форму ее длинных пальцев. Алина улыбнулась, качая головой. Она была безумна вчера. Разве она хоть сколько-нибудь любит Витольда? Как она смеет распорядиться собой без ведома Шемиота?

Она позвонила. Пришла Войцехова.

– Почему вы не убрали здесь? Это беспорядок. Войцехова ответила дерзостью. Она не могла знать, что барышня встанет ни свет ни заря, а вчера барышня сидела с господином Оскерко. Она не посмела входить.

Алина перебила служанку очень кротко:

– Я выхожу замуж, Войцехова.

Старуха ахнула и бросилась целовать руки Алины:

– Сердце Иисуса, дай Боже счастья и здоровья барышне, и радости и любви. Барышня выходит замуж за господина Шемиота?

Алина нервно засмеялась. Нет. Войцехова ошибается. Она выходит за господина Оскерко.

Наслаждаясь недоумением старухи, Алина серьезным тоном просила Войцехову о скромности. Войцехова клялась, что скорее откусит себе язык, чем скажет хоть слово. Потом она почти побежала на кухню и оповестила всех, что барышня выходит замуж за господина Оскерко и свадьба назначена

через месяц.

Весь дом сплетничал, покуда Алина и Христина сидели в саду в ожидании Витольда к завтраку. Христина размечталась вслух, неосторожно открывая свою мелкую, завистливую душу. Алина не мешала ей строить воздушные замки – поездку за границу, совместную жизнь около озера Комо или где-нибудь во Флоренции и другие более или менее фантастические желания.

Алина думала, беспечно занятая составлением букета: «Я готовлю Христине огромное разочарование, если Шемиот запретит мне брак с Витольдом. Почему эта мысль доставляет мне жестокую радость? Почему в жестокости есть удовольствие? Ничего. Со временем я дам Христиночке мужа, с Юлием она устроится счастливо и без нужды».

И она кричала Христине, что виноград созрел на пяти-шести лозах, затерянных среди кустов, по левую сторону сада.

Войцехова накрыла завтрак торжественно, на бледно-палевой скатерти, затканной крупными цветами, уставив стол парадной посудой, хрусталем и серебром.

Приехал Витольд Оскерко. Он выглядел очень смущенным, обеспокоенным, отнюдь не радостным. Рассеянно ответив на поздравления сестры, он тотчас же увел Алину в сад. Они дошли без единого слова до каменной скамьи.

Когда Алина села, Витольд сказал, волнуясь:

– Что все это значит, друг мой? Вы безумны, Христина безумна, я безумец. Ведь не венчаемся же мы, в самом деле?

Я боготворю вас, Алина, но мысль о браке с вами... Я боюсь... Я еще не вполне готов. Со мной вам будет хлопотно. Наконец, у меня не ликвидированный роман с Мисси Потоцкой, я признаюсь, я заварил эту кашу, я идиот и подлец. Дайте мне еще сообразить, Алина.

Алина громко расхохоталась и взяла его за руки.

– Друг мой, молчите, я сама не знаю толком, что происходит в этом доме. Одно только достоверно мне известно, что Юлий Шемиот женится на Христине.

Оскерко обрадовался. С сестрой ему прямо-таки тяжело. Она терроризирует его, грозит иногда самоубийством.

– Бедный Витольд, я обещаю вам свободу, но теперь вы – мой жених. Вы мне сделали предложение. Я еще не уступаю вас Мисси Потоцкой.

Витольд смотрел на нее с любопытством.

– Я не представляю себе нашей внутренней жизни, дорогая, но она кажется мне таинственной и прекрасной.

Они вернулись к Христине под руку, медленно, как влюбленные.

## Пятая глава

Алина и Генрих Шемиот вышли из дома.

Кругом многое изменилось. Все оттенки пурпура, золота, синего и лилового разлились по деревьям. Листья еще не совсем опали, но было страшно подумать, что станет с ними при первой буре и дожде. На акациях повисли вздутые стручки, безобразия которых сменило красоту белых душистых гроздей. Шиповник обнажился и пылал крупными ягодами. Плющ и виноград были красны с медными и коричневыми оттенками. Мрачное великолепие осени рождало печаль. Но в то же время было нечто несказанно сладостное, сонное и нежное в тишине сада, бледном солнце и аромате гниения.

Светло-золотистое манто Алины, отделанное узкими полосками соболя, сливалось с общим тоном. Край ее белого шерстяного платья задевал репейник. По своей излюбленной привычке она оставила голову непокрытой, и пепельные волосы трепал ветерок.

Они выбрали дорогу мимо экономии и углубились, по желанию Шемиота, к маленькой уединенной дачке.

– Объясните же мне ваше поведение, Алина, – сказал Шемиот, – до сих пор нам мешал Юрий. Теперь мы одни.

Она хотела казаться веселее, чем была, и взяла легкий, оскорбительно-легкий тон. Витольд Оскерко сделал ей пред-

ложение. Последние дни они проводили вместе, он пригляделся к ней серьезно. Наполовину она согласилась.

Шемиот заметно побледнел:

– И вы приехали мне сообщить об этом?

Она смутилась:

– Я поступила безобразно и грубо, я не сообразила, что...

Он остановил ее жестом:

– На этот раз я не прощу вас, Алина. Приготовьтесь немного поплакать.

Дорога стала грязной, размытая дождями. Они взяли в песке речного берега, спустились наискось в ложбину, сплошное болото, через которое сторож проложил узкую тропинку из мелких булыжников. Широкий, искусственно проведенный ручей бежал, журчал, пенился, кипел в кустарниках. Это падение воды звучало мелодично, как музыка. Они вступили в молодой ивняк. Ивняк был чуть-чуть выше человеческого роста, густой, серый, гнущийся к реке, словно камыши. По словам Шемиота, его посадили только два года тому назад, чтобы помешать воде размывать берег. Здесь стоял чудесный, дразнящий, солоноватый аромат ила, ивняка, гниющих листьев. Ничего не было слышно, кроме журчанья ручья, от которого они удалялись, скрипа веток и слабого чириканья какой-то птички.

Шемиот шел впереди, осторожно раздвигая ивняк, Алина двигалась за ним, любопытная и восхищенная:

– Я никогда не знала, что ивы пахнут.

На пол-аршина от земли повисли неширокие ступеньки дачки. Она была совсем примитивного вида, поставленная на высоких, толстых столбах, с круглым опоясывающим ее балкончиком и чердаком, выкрашенная в серо-голубой тон, тон бегущей реки. Алине она напомнила голубятню. Шемиот объяснил, что она выдержала уже два разлива. Когда устраивается рыбная ловля, здесь ужинают и ночуют.

– Представьте себе, я забыл вчера запереть дачу, – горестно воскликнул Шемиот, – это будет чудо, если там не стащили чего-нибудь.

Однако внутри все оставалось на месте. Маленькие голубые ставенки полуприкрыты, и свет проникал сюда полосами. Кроме стола, стульев, плешивого ковра, здесь половину места занимал диван, низкий, широкий, с подушками в парусиновых наволочках. С потолка спускался овальный фонарь темно-красного, почти черного стекла, по стенам висело старое оружие и гравюры фривольного содержания в самодельных рамках. Деревянная лестничка вела на чердак, дверь которого в потолке не запиралась.

– Все цело, – объявил Шемиот, оглядевшись. – В прошлом году отсюда утащили подушки, чехлы, всякую рухлядь.

Он был польщен комплиментами Алины. Да, да, здесь очень мило. Это исключительно его затея. Он бросил свой плащ и открыл ставни. Вечернее солнце залило комнату, расцветило пыль, состарило мебель и развеселило окончательно дачку.

Шемиот помог Алине снять ее мантию. Потом он сказал, щуря свои великолепные глаза:

– Вы – капризный, непослушный ребенок.

Она виновато, покорно улыбнулась и пошла за ним на балкончик.

Как ароматно пахли ивы! Как мелодично журчал ручей! Вся синева неба отразилась в реке.

Шемиот сбежал по ступенькам, насвистывая, словно школьник.

Теперь она увидела, как он вынул перочинный ножик и режет ветки ивы. Зеленоватая искра его огромного изумруда и зеленоватый ободок свежей коры мелькнули перед нею. В две – три секунды он уничтожил сучья, и ветка становилась гладкой, эластично склоненной вниз.

Ах, и она поняла. Так вот что ждет ее. Простое, общее, почти тривиальное и бесконечно унижительное наказание.

На миг ей показалось, что она потеряет сознание.

Во второй миг она поняла, что не убежит, не крикнет, не возмутится.

Она стояла не двигаясь, все время глядя на его тонкие, белые пальцы, на изумруд, на увеличивающееся количество веток, и чувствовала, что еще никогда, никогда она не любила так Шемиота, как в эту минуту.

Она сказала, запыхаясь:

– Вы хотите? Вы хотите?

– Я вас высеку сейчас, Алина. Это решено.

Она вздрогнула, теряясь все более и более и пугаясь того, что его слова так волнуют ее душу.

Спокойствие Шемиота походило на спокойствие неба и земли.

Не веря тому, что он простит ее, и не вполне веря самой себе, она повторила несколько раз:

– Умоляю вас, пожалейте меня, умоляю...

Он пожал плечами.

Она убежала в комнату. Здесь она села и не знала, что с собой делать. Вихрь мыслей, протестующих и ликующих, пронесся в ней. К нестерпимому, одуряющему стыду, перед которым побледнело все, что до сих пор пережила она, щедро примешивалась тайная радость, волнующая и блаженная. Ведь она ждал наказания, она знала... Мечты станут действительностью...

В это время ей явственно почудилось шуршание на потолке. В широкие щели посыпалась труха. Снова было тихо. Где-то слабо журчал ручей. Где-то насвистывал Шемиот.

Когда он вернулся с розгами, она из бледной стала пунцовой.

Шемиот слегка запыхался и, вытирая лоб платком, сказал мягко, в первый раз обращаясь к ней на «ты»:

– Я высеку тебя не только за непослушание, за порочную дружбу с Христиной, за кокетство с Юлием, комедию с Витольдом, но главное, за то, что ты ворвалась в мою жизнь не спрашиваясь... Я не дал тебе право преследовать меня. Ты

отрываешь меня от моих дел, ты просто назойлива... Мод-но смело сказать, что ты женишь меня на себе... Боже, я не позволю ничего подобного...

И он думал: «Ее самовнушаемость поразительна».

Алина стояла перед ним в глубоком смущении, сраженная его словами, чувствуя его правоту, умирая от раскаяния и пламенного, головокружительного желания наказания.

Она бормотала, не глядя на него:

– Да... да... высеките... это нужно... это нужно...

Он бережно, как хрупкую драгоценность, разложил ее на диване и долго путался в кружевах ее юбок, невольно затягивал туже тесемки и потом рвал их, волнуясь.

Вздрагивая, закрывая лицо руками, Алина лепетала:

– Милый... милый... Я боюсь... я боюсь... Боже мой...

Чувствуя, как свежесть коснулась ее тела, как под его рукою низко спустилось белье и платье покрыло ее спину, она воскликнула громче:

– Генрих!.. Генрих!.. Я не могу!.. не могу... мне стыдно... ах!

И она извивалась уже заранее, охваченная чисто животным страхом.

– Как ты красива. Тебя даже жалко сечь. Подобно Абеяру, я уже влюблен в тебя. Розги оставят след. А, моя крошка, почему ты так не послушна?

Первый удар она не почувствовала, второй и третий заставили ее вздрагивать, и дрожать, и метаться, как рыбка.

– Ах, ах... больно... больно... милый... милый, я на коленях... не буду... не буду...

– Ты кричишь еще рано, дитя...

Шемиот сек ее медленно, не чересчур жестоко, испытывая сладкое волнение при виде того, как ее тело, нежный цветок среди поднятых юбок, густо розовело. Весь мужской деспотизм проснулся в нем. Он был господином, она – рабой. Он был счастлив.

– Милый, милый... Не буду... не буду...

– Я надеюсь, лежи тихо... Я вижу, ты получишь лишние.

– Генрих... Генрих... я лежу тихо... ах... больно, больно... о-ах... прости... прости... не могу... не могу.

Он процедил сквозь зубы, бледный, как полотно, от ее криков:

– Не вертись, ты сама виновата... ты вьешься... твои движения ударяют мне в голову...

– Милый... милый... высеки меня еще завтра, сегодня прости... ах... ах... Генрих... Генрих...

Он был взволнован наивностью ее восклицания.

– Повтори эту фразу.

– Милый... милый... высеки меня еще завтра, но сегодня прости...

– Это не последний раз... обещаю тебе...

– Больно... больно...

– Очень больно... ты права, бедняжка...

Время остановилось для Алины... Ей казалось, что он се-

чет ее чем-то огненным, колючим, едким. Боль подошла к самому сердцу. Она уже не ощущала розог в отдельности, а одну плотную, как бы стальную трость. Она извивалась, металась, ползала на груди, но розги достигали ее всюду, падали на нее медленно, как медленные укусы или жадные пчелы.

Она рыдала, умоляя униженно и страстно:

– Прости меня... прости... я глупая, скверная женщина... целую твои руки, целую твои ноги... ах... ах...

– Не вертись, замолчи... я приказываю молчать...

Алина смолкла вся в слезах, стараясь лежать тихонечко, задерживая глубокие вздохи.

Начиная испытывать головокружение и боясь стать жестоким, он остановился. Он спустил еще ниже кружева, выпустил ее руки, поправил волосы, и она решила, что наказание кончается. Слезы высохли у нее мгновенно. Она думала: «Вот господин мой... О, Бог мой... О, как я его люблю... Как он строг... Как я ему благодарна... Я запомню этот урок надолго».

Он думал: «Я давно не испытывал подобного ощущения. Как мне ее жаль... если бы с нею был обморок, я бы лишился рассудка от угрызения совести... Она моя теперь до самой смерти... я все могу сделать с нею...».

Робко она спросила:

– Можно мне встать?

– Нет, дорогая.

– Милый... милый... прости...

Но он был непреклонен.

– Ты можешь плакать дитя...

И розги опустились на нее снова. Как она извивалась.

– Милый, милый... прости...

– Еще десять розог... отличных, горячих розог, любовь моя...

И она действительно получила последние, которые показались ей раскаленными.

Шемиот помог Алине подняться. Она оправилась с его же помощью и стояла перед ним заплаканная и пунцовая от стыда.

Он спросил ее, растроганный:

– Вы будете послушны, Алина?

Тогда она бросилась перед ним на колени, повторяя:

– Всю жизнь. Всю жизнь.

– Не был ли я жесток?

– Нет, нет вы добры, вы великодушны ко мне, Генрих, вы меня понимаете, вы меня ведете к добру, только вы один хотите моего исправления.

– Вы плакали сильно, Алина.

– Я должна плакать, – воскликнула она с ненавистью к себе, – я провинилась, вы наказали меня, не покидайте, не оставляйте, не презирайте меня, Генрих.

Он сказал вежливо, поднимая ее с колен:

– Дорогая моя, вас нужно ласкать ежедневно, но не забывать...

Они ушли.

Солнце уже село. С запада плыли дождевые тучи. Поднялся ветерок и рябил реку. На желтизну листьев, оголившиеся кустарники, горизонт, дорогу ложились сумерки.

Алине казалось, что ручей журчит более мелодично, а земля пахнет особенно сладостно. Она опиралась на руку Шемиота, несказанно счастливая, упоенная, тихая, ощущая необыкновенную легкость на сердце и во всем теле.

Перед обедом, который теперь накрывали в столовой, а не на веранде, прислуга напрасно искала Юлия. Наконец, он вернулся откуда-то, извинился и говорил чересчур громко.

– Что с тобой? Ты кричишь, – рассеянно заметил ему Шемиот.

– Прости, отец.

Алина краснела, встречая пристальный взгляд Юлия. Этот мальчишка чересчур смел, он мог бы оставить ее в покое.

За вторым бокалом Шемиот проговорил:

– Я устал, я ухожу к себе, Алина, будьте снисходительны ко мне.

И он удалился, поцеловав руку Алине, поднявшей на него глаза доверчиво, благодарно и влюбленно.

Франуся принесла крем, ягоды, кофе. Алина ни к чему ни притронулась. Она мечтала. Было нечто изысканно-девичье в ее фигуре, скрытой белым шерстяным платьем.

– Который час, Юлий?

– Около десяти, еще рано, посидите со мной.

– Я очень устала.

«Остаться одной, остаться одной, – пело в Алине, словно Шемиот заморозил ее своим желанием, – спать, спать».

– Вы гуляли с отцом, Алина?

– Да, да, спокойной ночи, друг мой.

И она поспешно простилась, боясь его расспросов. У себя в комнате она застала Франсю.

– Идите, милая, вы мне не нужны.

Решительно, она задышалась от желания остаться одной. Она раздевалась небрежно, бросая платья. Потом трико, Бюстгальтер, чулки, подвязки с бантами, денную рубашку она оставила прямо на полу, выходя из них, как из воды. Лампа под кружевным абажуром освещала только часть комнаты и кровать, соблазнительно белевшую, как бонбоньерка. Алина зажгла еще свечи по бокам стенного зеркала. Она хотела видеть свое тело после наказания, чувственно содрогаюсь, относясь к себе, как к чему-то постороннему.

На теле остались частые, тонкие, розовые полоски, легкие вздутости, похожие на пуговицы. Алые царапины, которые нельзя было назвать струпьями, конечно. Она рассматривала себя долго, улыбаясь, вздыхая, ежась. Сладострастная дрожь бежала по ней. Если бы она могла, она поцеловала бы набожно следы ее унижения и покорности. Несказанно счастливая и упоенная, она думала: «Ах, если бы снова, если бы снова!.. Зачем она не покорилась его наказанию более терпели-

во? Зачем она плакала и кричала?... Зачем она боялась? О, трусиха!»

Потом ненависть к своему телу, ненависть к себе, как к женщине, сосуду мерзости, потрясли ее чудовищным образом.

– Да, ее высекли, высекли. Мужчина, который не женился на ней, да и женится ли он?... О... о... И будет еще хуже, еще хуже... Когда-нибудь он высечет ее при свидетелях, при сыне или при Христине... С такой падалью церемонится нечего. Нужно быть строгим с нею, нужно быть беспощадным, неумолимым.

Она надела закрытую рубашку, перешла на кровать, прочитала покаянные псалмы, но не тушила лампы, а придумывала новые унижения и новые изуверства над собой.

Она думала, лежа ничком и плотно укутавшись в одеяло, которое жгло ее разгоряченное тело еще больше.

– Я упряма, я глупа, я безвольна и я прямо-таки до смешного ничтожна... Меня нужно исправлять ежеминутно, ежедневно... О, милый... Он сказал, что никогда не устанет сечь меня... Я его понимаю...

С внезапной грустью она подумала:

– Никто не убедит меня, что я безумна... Я просто лучше других женщин сознаю свою гнусность, слабость, причастность к дьяволу... Почему сечению я придаю такую огромную важность?... Потому что оно кажется мне самым позорным, хуже всего на свете, позорнее любого унижения... Лег-

че целовать ноги, чем кричать – милый, милый, не буду... Для себя же ищу самого тяжкого наказания... Я пойду за ним на край света.

Кто-то постучался в дверь – три сухих требовательных удара.

– Генрих.

Она вскочила, торопясь накинуть халатик, лиловый шелк, затканый серебрянными бабочками. Потом она открыла дверь.

Это был Юлий.

Она возмущенно ахнула, отступая.

Он, улыбаясь, запер дверь.

– Тсс, вы мне нужны, Алина.

– Что случилось?

– Успокойтесь, отец спит, послушайте меня.

– Как? В двенадцать часов ночи?

Бледная от гнева, она все отступала. А он приближался, стукнулся о круглый стол и сел на него боком.

– Я видел вас, – сказал он просто, – я был на чердаке, когда... это мучит, душит меня, я пришел поговорить с вами, Алина.

Теперь, в свою очередь, она села в глубокое кресло напротив и смотрела на Юлия пораженная.

В нескольких словах Юлий рассказал о том, как это случилось. Он вовсе не хотел шпионить за отцом. Он пришел на дачу, как обычно, с книгой и альбомом зарисовок. Всех

ключей от дачи – три. У отца, Юлия и сторожа. Когда из окна дачи Юлий увидел Алину и отца, он почему-то испугался. У них были такие влюбленные, сияющие лица. Что-то мешало ему оставаться здесь. Он спасся на чердаке, и так неловко шумел там веревками, балками, что ежеминутно ожидал – вот-вот его накроют. Он отгреб с пола чердака солому.

– Ах, я слышала, – прошептала Алина.

Да, он отгреб солому и видел парочку в щель так же ясно, как прежде в окно. Он ждал любовной сцены, взволнованный, сконфуженный, презирая себя за это низменное любопытство, но совершенно не владея собою.

Когда он увидел отца с розгами, ему пришло в голову дикая мысль, что это его, Юлия, высекут, и он вынул из кармана перочинный ножик. Он бы изрезал руки отца, черт возьми...

Алина содрогнулась, продолжая сидеть в той же позе оцепенения.

Но отец сек Алину, и она была так красива, так покорна, во всей ее позе было столько сладострастия, а в ее криках столько любви, мольбы, что он, Юлий восхищался и гордился своим отцом. Вся кровь зажглась в нем, он почувствовал, как душа его перерождается, как он сам становится жестоким, властным, и он думал, что нужно поступать так и не иначе с женщиной. Он почувствовал еще и то, что теперь нет в мире для него ни единой женщины навсегда, а все они будут случайными, и всех их потом он выкинет за борт и пой-

дет дальше.

Грациозно наклоняясь к Алине, трогая ее лиловый халатик, затканый серебрянными бабочками. Юлий говорил с большой нежностью:

– Никогда я не подозревал, что зрелище может так влиять на человека. Я пошел на дачу одним Юлием, а пришел другим, и, знаете, Алина, я не предполагал также, сколько жестокости заложено в мужской душе, и что я, Юлий, сразу пойму странное и острое.

Да, я хорошо понял все нюансы... оттенки... если хотите, не знаю, как сказать.

Почему вы плачете, Алина? Я не хотел вас обидеть, ведь вы любите моего отца, все женщины становятся его рабынями, так и Клара, так и моя мать, и другие, которых мы не знаем. Отец уж таков, с ним ничего не поделаешь. Правда, я думаю, что вы, Алина, побили рекорд смирения между ними, вы перешли какую-то границу. Границу дозволенного и нормального в будничном смысле. Но это потому, что ваши чувства преувеличены и ваша любовь льется через край. Может быть, отец сам виноват в этом.

Алина перебила с искаженным лицом, не вытирая слез, складывая молитвенно руки:

– Нет, нет, ваш отец ни в чем ни виноват, Юлий. Клянусь вам, наказание жестоко, но я его заслужила... вы еще не знаете, до чего я порочна и отвратительна, и стать лучше без чужой помощи я не могу, не могу. Наказание доставляет мне

боль... страшную нечеловеческую боль, поэтому я и раду-  
юсь.

Это хорошо, что вы сознались мне, теперь, когда я знаю,  
что не была наедине с вашим отцом, я чувствую себя более  
униженной. О, как я гнусна.

Юлий покачал головой:

– Вы искусно скрываете свои достоинства, Алина. Почему  
это так? Вы думаете лишь о пороках.

И после паузы:

– Христина Оскерко будет моею женой. Это для меня во-  
прос самолюбия и чести. Она слишком долго сопротивля-  
лась, но в то же время никто так не близок моей душе, как  
вы, Алина.

Они продолжали говорить шепотом, робко делясь между  
собой впечатлениями вечера, высказывая догадки на буду-  
щее. Утомленные случившимся, они не замечали раскрытой  
постели, разбросанного белья, распущенных волос Алины,  
ее босых ног.

Монотонный шорох вернул ее к действительности. Это  
шел сильный дождь.

Они простились изумленные, что уже поздняя ночь.

– Тайна?

– Тайна.

Дождь, начавшийся с вечера, продолжался и днем – на-  
стоящий потоп с сильным, холодным ветром. Теперь были  
сорваны последние листья, и земля превратилась в скольз-

кую топкую грязь. Везде стояли целые озера воды, мутной и волнующейся от ветра.

Алина проснулась поздно. Она почувствовала холод и сырость еще в постели, и ее охватила смутная грусть, неопределенное ощущение полного одиночества.

Франуся принесла ей кофе:

– Ах, барышня, ну и погодка, если дорога размокнет, мы надолго засядем в деревне.

Отдергивая занавес, невольно шумя мебелью, горничная продолжала жаловаться. Нет, это последний раз она служит в деревне, думала отдохнуть, скопить денег, поправить здоровье. Какое там.

Алина молчала. Все ее движения были медленны. Причесываясь и удивляясь своей бледности, она думала: «Как я встречу Генриха? Что я скажу ему в первую минуту? И когда же я, собственно, уеду домой?»

Поколебавшись, она спросила Франусю:

– Барин встал?

– Давно уже. Барин в конторе с управляющим, сегодня суббота, расчет рабочих.

– А молодой барин?

– Молодой барин уехал.

– Уехал? Куда?

Алина изумилась. Франуся прятала в шкаф лиловый халатик, вышитый серебряными бабочками. Она отвечала совершенно спокойно:

– Молодой барин уехал верхом на станцию. Он очень торопился в город и боялся, что погода испортится.

Все мысли смешались у Алины. Одна с Генрихом. Одна после вчерашнего.

Она попросила измененным голосом:

– Дайте мне, пожалуйста, серое платье.

Это было то простое платье – дымчатое либерти, вышитое белым стеклярусом, которое она надевала в город для Шемиота. Застегивая жемчуг, она мысленно сравнивала свой туалет с серым небом, серым туманом, серыми струями воды. Жемчуг означает слезы. Неужели же Генрих снова заставит ее плакать?

Она вышла в другие комнаты.

Все тепло из старого дома унесло за ночь.

Мертвая тишина тревожила Алину. Потoki дождя по стеклу и бешенство ветра, от которого скрипели двери и окна, приводил ее в уныние. Поздняя осень. Она никогда не сможет жить круглый год в имении, никогда. Даже возле любимого человека. Иначе это было бы для нее горе; тяжкие условия, неприятный осадок в любви. Потом она устыдилась: «Какая я эгоистка. В сущности, это не так уж плохо – поскучать немного».

Сначала она попала в гостиную, где мебель, черная банальная, обитая синим атласом, и вазы синего фарфора с грубыми рисунками раздражали Алину. Из гостиной она так же бесцельно переключалась в библиотеку, убранную в араб-

ском стиле, всю увешанную коврами, с выцветшим, но мягким и теплым диваном. Оттуда она скользнула в залу с тремя простенными зеркалами и мебелью, дряхлой как дом.

Здесь Алина задержалась, ибо большая часть сада хорошо виднелась из окон. Можно было окоченеть, глядя на потоки воды, которая продолжала литься с неба, крыш, деревьев, кустов. Стены флигелечка почернели, а молодые акации трепались, словно женские юбки. Не было видно ни птицы, ни человека.

Из залы она прошла в кабинет Шемиота, который не любила. Что-то нестерпимо скучное было в этой комнате – с неуклюжей ореховой мебелью, книгами, атласами, путеводителями, географическими картами по стенам. Портрет покойной жены Шемиота – она с годовалым Юлием на руках – мучил ревностью Алину. Недоброжелательно глядя на нее, она слегка пожала плечами:

– Юлий говорит, что отец сменил много женщин. Тебе нечего глядеть так счастливо и невинно. Я предпочитаю Клару. По крайней мере, та хорошо сознавала свое положение.

В глубоком кабинете синие драпировки скрывали альков. На камине чугунный олень нес на своих рогах круглый шар – часы. За железной решеткой камина лежали дрова и, дрожа от холода, Алина пожалела, что они не горят.

После кабинета она осмотрела бильярдную, столовую, буфетную, угловую комнату для гостей.

– Я могу сказать теперь, что характерная черта этого до-

ма – сырость, пыль, безвкусие и запустение. Чтобы отопить зиму такую громаду, где дует в каждую щель, нужно вырубить половину леса. Когда я выйду замуж за Генриха, я изменю здесь многое, он будет жить у меня, Юлий и Христина – на его городской квартире, а сюда мы станем приезжать только летом.

Но душа ее, усталая от неопределенной тоски и предчувствия недоброго, мало верила этим мечтам.

Она вернулась в спальню накинуть палантин и вспомнила свой вчерашний разговор с Юлием. Как она испугалась, когда он вошел. И как он смело говорил. Почему он уехал? Может быть, он признался во всем отцу? Или Генрих сам отослал его?

Алина бесцельно бродила по комнатам, задерживаясь у окон, испытывая почти отчаяние от неопределенности и вынужденной праздности. Дождь увеличивался, а дневной свет становился все более и более тусклым. Мысленно Алина бурно упрекала Шемиота. После вчерашнего даже не взглянуть на нее, не сказать ей «доброе утро». Уж не презирает ли он ее окончательно? Она перенеслась мечтою к реке, где колышется ивняк и где одиноко стоит дачка, похожая на голубятню. Неужели же вчерашнее только случайность?

Она вздрогнула, услышав голос Франуси:

– Барин просит завтракать без него. Барин очень занят с управляющим.

Ей подали бульон в чашке, цветную капусту, холодного

рябчика и яблочный пирог. Она ела каждое блюдо совершенно машинально, не отвечая Франусе. Кофе обожгло ее губы – она слегка пришла в себя. Что делать после завтрака? Если бы ее не терзали сомнения, опасения, неопределенность, она бы строила планы на будущее, но она не могла, не могла, не могла.

Она думала: «Я никогда никому не умела рассказать, как я тоскую. Тоскую без причины, или, возможно, есть причина, только я ее позабыла, не нашла, я так боюсь пафоса, нескромности и печали».

Она забралась и библиотеку. На столе лежали мемуары графа Лас-Каза. Она побоялась открыть даже первую страницу. Есть же что-нибудь святое?

Шаря по углам, Алина натолкнулась на папку, распухшую от вырезанных картинок. Здесь оказалась целая коллекция знаменитых женщин – Мария Стюарт, Адриенна Лекуврер, Заира, Магдалина, Екатерина Медичи, Лавальер, Помпадур... Тут же она нашла ящичек с акварельными красками. Это восхитило Алину. Она любила раскрашивать, совсем неискусно, как девочка. Она достала стакан воды, выбрала пачку картинок, очистила местечко на столе среди толстых книг по живописи и архитектуре и принялась за работу. Очень прилежно она раскрашивала в лиловый цвет платье Марии Манчины и в темно-зеленый – драпировку за нею. Несколько раз, подымая голову и слушая ветер и дождь, она боялась разрыдаться.

Когда совсем стемнело, Алина отложила кисточку. Пальцы ее онемели, но остались чистыми. Она пожалела, что около нее нет Юлия или Христины. У нее не было ни сил, ни желания двинуться с места. Франуся пришла, зажгла лампу, говорила что-то, ушла, где-то шумела, спуская шторы, – Алина не слышала, Хлопнула входная дверь, вернулся Шемиот, прошел к себе переодеваться – Алина тоже не слышала. На веранде управляющий спорил с подрядчиком, а его собаки ожесточенно лаяли – и снова Алина ничего не слышала.

– Вы здесь, Алина?

Шемиот целовал ее пальчики, извиняясь. Проклятое хозяйство! Проклятая погода! Решительно, он болен из-за всех этих вечных историй с рабочими, поденщиками, управляющим. В конторе пахло дегтем, капустой и еще чем-то отвратительным. Он еле держится на ногах.

– А вы что делали, Алина?

– Я тосковала.

– О городе?

– О вас.

– И потом?

– Раскрашивала акварелью картинку.

– Какое ребячество.

Он рассмеялся, Она все еще не приходила в себя от волнения.

– Ваш сын уехал?

– Да.

– Почему?

– Две причины. Первая – он хочет сделать предложение Христине. Вторая – я сам отослал его. Он мешал мне. А вы недовольны, дорогая?

– О нет, если вы это нашли нужным.

– Вы знаете, я немного боялся за вас.

– Вы?

– Да, после вчерашнего вы могли заболеть.

Алина улыбнулась, опуская глаза:

– Я здорова.

– Тем лучше, пойдете в столовую.

После обеда Алину ожидал сюрприз – затопили камин в кабинете Шемиота. Сюда им подали чай, торт, варенье, ром. Свет от камина зажигал разноцветные огоньки на стеклярусном тюнике Алины – ее плечи, прикрытые белым шифоном, нежно розовели.

Шемиот слегка подался вперед, чтобы лучше разглядеть выражение лица Алины, и она скорее угадала, чем заметила, его быстро скользнувшую улыбку.

– Я огорчу вас, дорогая.

– Вы не можете огорчить меня, Генрих, я всему подчиняюсь заранее.

– Вы меня радуете, я малодушно прячусь от вас целый день.

– Прячетесь?

– Да. Мне нужно сказать вам. Ах, как это трудно.

Шемиот, гремя щипцами, перебил головешку в камине, сгреб уголья и, любуясь на новое пламя, высокое и ровное, как дыхание, продолжал:

– Будьте мужественны, Алина, я твердо обдумал план нашего союза. Я не женюсь на вас, дорогая, я не женюсь на вас никогда, хотя бы вы умерли здесь, у моих ног, я не женюсь.

Она перевела дух. Казалось, вся жизнь ушла из ее глаз, и они стали тусклыми, неподвижными, чуть-чуть расширенными.

Она спросила шепотом:

– Вы не любите меня?

– Я люблю вас, Алина, больше всех женщин, которых я только знал. Чем мне поклясться?

Она сделала слабый жест, означающий – почему же вы бросаете меня?

Он повторил то, что она уже слышала. Он стар для нее. У него взрослый сын. Алина может быть счастлива с другим. Наконец, если она считает позорным быть его любовницей, она, значит, его не любит бескорыстно и полно. Все это он щедро пересыпал сожалениями и жалобами то на судьбу, то на женщин, то на самого себя.

Алина была ошеломлена. Понятие «любовница» для нее являлось чем-то омерзительным, страшным и, главное, нечистоплотным. Конечно, она глубоко унизилась перед Шемиотом, он наказывал ее и говорил ей «ты», но ведь она смотрела на него как на мужа. Он был для нее Единствен-

ным и Избранным. Она убеждена, что не могла бы любить другого так, как Генриха. Все застыло в ней от горя, и она не ощущала больше никаких желаний.

Она подумала:

«Судьба моя решается, но мне безразлично. Я готова встать и уйти куда-то. Все равно куда, не оглядываясь. Так вот чего хочет от меня Генрих? Заменить ему Клару, о, это слишком».

Шемиот знал ее мысли. Он взял себя в руки. Он не женится, если даже Алина потеряна для него, он не женится, Это смешно.

И он поднялся, как бы прощаясь:

– Я в отчаянии, Алина, сознаюсь, я думал встретить в вас больше любви. Она зарыдала:

– Неправда, неправда, я была вашей с первой встречи, а вчера? О, как вы жестоки ко мне.

Звук ее голоса растрогал Шемиота. Он обнял ее, вытирая ее слезы, целуя глаза и губы:

– Не плачь, все устроится, будь послушна. Ты – моя, и ты очаровательна.

Теперь, когда они отбросили вопрос о браке, в Шемиоте поднялся исключительный интерес к Алине. Он был счастлив и снова влюблен. Он смотрел на ее яркий, свежий рот и терзался между желанием обладать ею сегодня и желанием довести ее еще до большего любовного исступления. Прибегая к наказанию, он знал, что делал. Собираясь обладать ею

– он шел наугад. Ему было важно заставить Алину всего и всего просить.

Они не заметили, как дрова догорели.

Теперь пылали только угли. Стало жарко.

– Уже полночь, Алина. Вам пора ложиться.

– Спокойной ночи.

– Спокойной ночи.

Она поспешно простилась.

Глубокое разочарование охватило Алину. Как, значит, он не хочет оставаться с ней? Она ничего более не понимала. Ведь истинная любовь проста. А любовь Шемиота представлялась ей иероглифами. Добиться у нее согласия на все, потребовать всего, довести ее до бесстыдства и потом даже не желать ее? Что ей делать? Уехать? О, если бы она решилась на это. Остаться? Для чего? А если он просто скучает с ней, ищет предлога отделаться?

После бурных слез ее настроение изменилось:

– Разве я думала встретить в Генрихе азиата? Он слишком умен и деликатен. Он приближается ко мне не без колебания. Правда, я не буду его законной женой, но тем более любовница обязана стать совершенством, я поняла это сегодня.

И она уснула, продолжая плакать, но уже без горечи и оскорбления, оправдав его во всем сама перед собою.

Шемиот же разговаривал с лакеем. Викентий доложил ему, что Франуся не остается служить. Она все время скучает по городу.

– Хорошо, Викентий. Почему не все рабочие пришли за получкой?

– Дорога очень плоха.

– Если они придут завтра, мне не докладывайте.

И Шемиот думал, покуда Викентий растирал его одеколоном: «Все в доме считают Алину моей любовницей. Тот же Викентий, и управляющий, и повар, все, а я теряю время и не должен быть преувеличенного мнения о собственной персоне. Я могу наскучить Алине, внушить ей раздражение, показаться смешным, Витольд Оскерко женится на ней, не задумываясь, я убежден, от горя Алина способна сделать эту глупость, она выйдет за ничтожество и возьмет в придачу Христину, я не прощу себе тогда до смерти. Желая я Алину? Сегодня – безусловно. Раньше я думал об этом лениво. Завтра? Завтра я могу стать холодным как лед. И все-таки сегодня уже потеряно. Какая жалость. Что делает Алина? Она плачет, считает себя погибшей и уязвленной в своем женском самолюбии. Она думает, что не нравится мне физически. Скоро она устанет думать, плакать и будет только страдать. Как хлопотно с этими женщинами!»

– Спокойной ночи, барин.

Викентий ушел.

Последней мыслью Шемиота было: «Алина сама виновата. Если она любит меня, почему она не осталась со мной? Из чувства стыдливости? Послушания? Ну вот, подобные женщины только развращают нас».

Утром Алина сказала плачущей Франусе:

– Успокойтесь, если вы не хотите оставаться у господина Шемиота, я вас возьму к себе в город. Вы – хорошая девушка.

Франуся снова заплакала, но уже от радости. Алина совсем смягчилась. Ей было приятно тешить эту девушку, очень ловкую и услужливую, догадавшуюся о многом и все же не фамильярную.

– Да, да, Я увезу вас с собою.

Сегодня небо было ярко и блестяще. Обрывки туч быстро таяли. Ветер свирепствовал еще сильнее, чем накануне.

– Барин в кабинете?

– Да. Барин уже спрашивал о барышне.

Алина отвернулась.

Она решила несколько часов не видеть Шемиота и осторожно вышла другим ходом.

Она поднималась в гору с развевающимся тускло-зеленым шарфом на голове, в своем золотистом манто, цвет которого сливался с опавшими листьями. Она жадно дышала, аромат гниения опьянял ее. Ветер стянул, почти высушил землю. О вчерашнем ливне говорила помятая трава, большие лужи, рытвины, нанесенный пластами песок. Сад еще был великолепен, несмотря на октябрь. Он умирал с честью. Яркие краски сменились полутонами, пурпур и золото теперь превратились в лиловато-коричневое, почти черное. Ничто не пылало больше. Река текла мутная, желтая, почти

сливаясь с берегом и лугом. Стая ворон кружилась и отдыхала потом на кукурузном поле. В одной из аллей сада Алина натолкнулась на старого рабочего. Он воспользовался солнцем и ветром, чтобы разложить и высушить крупные орехи – несколько тысяч орехов. Сидя, он сторожил их. Он поклонился лениво и небрежно Алине, холодно смотря на нее своими узенькими серыми глазками.

Это смутило ее. Она думала, подымаясь все выше и выше к кресту: «Если бы даже Генрих и женился на мне, эти люди навсегда запомнят и не простят моего пребывания в имении. Они относятся с возмущением к Франусе, которая угождает распутнице. Викентий готов проклинать меня и думает, что я околдовала его барина».

Она свернула на узенькую дорожку между кустарниками и пришла к оврагу, вырытому сначала весенними водами талого снега, потом дождями, потом уже искусственно углубленному камнями. Самые крупные из них, серо-белого цвета, вчерашний ручей разметал в разные стороны. Здесь стояла скамья – разрезанный старый дуб, положенный на пни, до такой степени тяжелый, что его нельзя было сдвинуть.

Алина села. Ветер шумел верхушками, скамья нагрелась от солнца, камни тоже. Какое-то деревцо было все унижено красными мелкими ягодами. Кажется, боярышник. На сухом кустарнике повисло и качалось пустое, но еще крепкое птичье гнездышко.

«Я начинаю сомневаться в своем рабстве, – размышляла

Алина, – ведь все оно придумано мною, мною же установлено. Может быть, любовь Генриха изменит и меня, и мои вкусы?... Может быть, я стану жаждать только поцелуев, а не розог... Розги ужасны. Истинная пытка... У меня захватывает дух от одного воспоминания. И еще не достоверно, унизил ли меня Генрих или же я сама себя унизила. В конце концов, эта история зависела всецело от меня же самой. Итак, я не раба?... Тогда что же я?»

Но она не сделала никакого вывода из своих размышлений, а затосковала. Она чувствовала себя жалкой, смешной, выбитой из колеи, совершенно лишенной той ясности, в какой прожила до сих пор.

Она подняла глаза и увидела Шемиота, идущего к ней без плаща и без шапочки. Какая неосторожность!.. Он простудится на ветру.

Шемиот посмеялся над ее заботами и пригласил ее завтракать. Тогда из упрямства она сняла шарф.

– Тем лучше, Алина... зеленый вас бледнит... О чем вы задумались?

– Я старалась понять вас, Генрих...

– Очень хорошо.

Она вскинула на него чуть-чуть рассерженные глаза.

– Есть минуты, когда я вас ненавижу... Шемиот весело расхохотался. Алина смягчилась. Она давно не видела его таким жизнерадостным.

– Ах... вас ничем не тронешь, Генрих...

– Разве?

Вечером они снова зажгли камин. Сюда им принесли столик с инкрустациями, на котором они играли в шашки некоторое время. Но Алина была рассеянна. Она проигрывала партию за партией. Потом они пересели ближе к огню и сидели в глубокой задумчивости, слушая ветер. Шемиот внутренне колебался. День ему показался особенно приятным, Алина – обворожительнее, чем когда-либо. Он не знал, как ему поступить. Время не ждало его. Двенадцать часов! Алина молчала. Шемиот хотел настоять на своем. Они простились.

Сделав несколько шагов по коридору, Алина остановилась. Нет, он не звал ее. Нет... Наоборот, он сейчас же резко и длительно ручным колокольчиком позвонил Викентию. О, это слишком! Мужество покинуло Алину. И у себя, бросившись на постель, она рыдала, рыдала без удержу.

Пробуждение было ужасно. Веки опухли, цвет глаз из синего стал тускло-зеленым. Алина возмутилась. Зачем и для кого она сидит в этой дыре? Или она больше не девушка из порядочного общества, а жалкая тварь? Все нужно исправить, и немедленно. Сейчас она пошлет телеграмму Витольду, уложит чемоданы и выедет вечерним поездом. Дальше отсюда... дальше, на свежий воздух, к свежим людям. Забыть Шемиота, стереть, выкинуть из памяти эти дни.

Она лихорадочно оделась, открыла окно. Ее приводила и бешенство восхитительная погода – было солнце, полная ти-

шина, земля пахла. Где-то звенели птицы.

С отчаянием она вынула из шкафа свои платья. Но на упаковку вещей у нее не хватило решимости. Разве Генрих гонит ее? Почему она так торопится уехать? Она рискует потерять его. Нет, нет, это невозможно...

Франуся явилась, как всегда, с кофе. Вчера у нее была жаркая схватка с людьми на кухне. Викентий клялся, что между барином и барышней «нет греха». Он двадцать пять лет служил у барина и, хвала Богу, сам постилал ему кровать. Он с закрытыми глазами отличит, когда спали двое и когда один. Ему не верили, над ним насмехались, а барышню поносили дурными словами. Франуся держалась того мнения, что каждая живет как хочет. Разумеется, ей, Франусе, даром давайте такого старика, так она откажется. Но... если барышня влюбилась, то... почему нет?... И она вступалась за барышню с яростью соучастницы.

Увидев, что Алина укладывается, Франуся очень смутилась. Иезус Мария! Барышня ни единым словом не предупредила ее... Она же только сегодня развела маленькую постирушку... она моет белье барышни. Совершенно невозможно бросить и ехать в город... Кроме того, срок ее службы у Шемиота заканчивается только послезавтра...

Алина с облегчением ухватила за этот предлог. Ну хорошо, она останется еще денек. Держа написанную Витольду телеграмму, она вышла к завтраку.

Шемиот стоял у окна, наблюдая группу рабочих, толко-

вавших о чем-то с управляющим. Он только что вернулся со двора, держал плащ на руке и не снял своей черной бархатной шапочки. Увидев его золотистые пышные волосы, темные, гордые, сверкающие глаза, тонкие руки, Алина опять ощутила в своем сердце трепет и обожание.

Его утреннее приветствие звучало особенно нежно.

Он думал: «Я прихожу в отчаяние. Алина достойна лучшей участи. За что я издеваюсь над нею? Не прекратить ли эту пытку? Почему не подарить ей прочное спокойное счастье? Намекнуть ей, что я робок?... Она не поверит. Сказать, что щажу ее девственность? О, это грубость и низость... я ее все равно скомпрометировал... Высказать Алине желание, чтобы она сама была несколько активнее?... Нет, нет, она так стыдлива... она должна сама догадаться... Какое положение!.. Я ничего не знаю. Я запутался в собственной интриге.

К несчастью, нужно быть искренним... Я могу дать Алине только то, что даю... мне нужны ее слезы, ее крики, ее мольбы и унижения... Все остальное я возьму из вежливости, но не более...»

Алина говорила Шемиоту, несколько смущенная его ласковым взглядом:

– Вот телеграмма... для Витольда Оскерко... Нельзя ли послать верхового на станцию... Это очень важно...

Он взял бумажку, прочел текст и, улыбнувшись, спрятал ее в карман.

– Отлично, Алина... сегодня так тепло, что я едва не велел накрыть стол на веранде...

Про себя он подумал: «Никакой телеграммы я не пошлю... Отпустить Алину в таком состоянии – чистейшее безумие, Надо, по крайней мере, успокоить, примирить... примирить?... С чем?... Разве я отказываюсь от нее?... Нет, конечно... Я все более и более убеждаюсь, что Алина способна радовать меня. Именно радовать. В мои годы счастья уже не испытывают».

И они ушли гулять, оба взволнованные, оба стесненные, колеблющиеся.

Ах, какой это был чудесный осенний день – прозрачный, теплый, тихий, весь продушенный нежным запахом влажной земли, осенних листьев, не то сухих плодов, не то каких-то растений. Они увидели снова молодого орла, низко-низко кружившегося и высматривающего добычу. Они повстречали пару осят, бродящих между кустарниками, они натолкнулись на крестьянина, несшего две огромные рыбы в мокром мешке для барина. Когда, запыхавшийся и потный, он вынул их, чтобы показать Шемиоту, рыбы еще вздрагивали. Они были великолепны, отливая на солнце перламутром, словно выточенные из серебра с чернью, с алыми жабрами. Восхищенная Алина засмеялась.

Потом ей стало жутко видеть эти вздрагивания, судороги, пляску в воздухе, и она с грустью подумала, что сама очень похожа на рыбу, задыхающуюся в руках Шемиота.

И на обратном пути вся ее веселость исчезла. Он напрасно прямо-таки ухаживал за нею и смотрел на нее то печально, то умоляюще. Алина замкнулась и упрячилась. Вечером он предлагал ей шашки, соблазнял камином. Нет! И она ушла к себе в восемь часов.

Внутренне смятенный, внешне спокойный, он проводил ее до порога ее комнаты.

«Что с ней?... Мое поражение?... или моя победа? – недоумевал Шемиот. – Что ж... оставим ее в покое...»

И он занялся конторскими книгами вместе с управляющим. Потом говорил с Викентием. Когда в доме наступила мертвая тишина, Шемиот начал неопределенно волноваться. Не потерял ли он Алины? Это было бы несчастьем...

– Если до часа она не придет ко мне, я отправлюсь с повинной.

Принятое решение развеселило и успокоило его. Он не раздевался: подбросил дров в камин и читал «Диалоги» Сиенской.

Без четверти час в его дверь постучались.

– Я выиграл сражение.

И он захлопнул книгу, улыбаясь.

В алькове Алина продолжала крепко обнимать Шемиота. Она плохо сознавала, что делает, но она навсегда запомнила, как он был деликатен и нежен. Ее легкий крик, крик утраченной девственности, был единственной радостью Алины.

Боль... Только боль поняла она в тайне слияния. Оно по-

казалось ей чрезвычайно простым, чересчур физиологическим и менее всего мистическим.

## Шестая глава

Это был очень холодный зимний день. Солнце сияло. Ледяная бахрома повисла с крыш. Огромные глыбы снега лежали стянутые тончайшей корочкой. Он хрустел и скрипел под ногами. Алина ездила в пансион к маленькому Бруно, терялась среди белизны, сверкания иглистого ветра. Ее ждал неприятный сюрприз. Директор очень настойчиво просил взять Бруно. Его находили вредным для класса. Среди веселых наивных детей он казался взрослым, и это отнюдь не могло считаться желательным. Директор пояснил далее, что одиночество мальчика внушило ему сострадание. По праздникам он отпускал Бруно к доктору Мирскому, у которого свои дети и который очень любит мальчика... Доктор выражал самое горячее желание усыновить Бруно. Христина уже давно дала ему свое равнодушное согласие. Алина крепко уцепилась за этот проект.

Сейчас она привезла к себе Бруно, обложила его альбомами, игрушками и терпеливо ждала доктора.

Она говорила, оглядывая стол, накрытый для завтрака:  
– Дайте, Франуся, плоскую вазу для редиски... только сначала наполните ее водой... вы подали икру?... она на ледничке... Спросите кухарку, как наш провансаль...

Из гостиной донесся кашель.

Это Бруно задыхался от коклюша. Алина беспокойно при-

слушивалась, Боже мой, до чего он мучится!

Франуся принесла икру и вазу. Она докладывала барышне, что Войцехова уехала. Старая служанка взяла свои пожитки, громко крича, что не хочет оставаться в этом распутном доме лишнего часа.

– Ну и отлично, – сказала Алина, – она извела меня.

– Мы тоже все радуемся, – просто заявила Франуся.

С тех пор как осенью Алина вернулась из имения Шемиота, Войцехова перестала верить в свадьбу. Она возненавидела Алину с тупостью честной женщины, а молчание Франуси казалось ей личным оскорблением. Ведь она так ждала грязных подробностей, которые потом передала бы разукрашенными на ухо духовнику. Но она не узнала ничего от Франуси и разъярилась.

А сегодня, увидев Бруно, старая служанка окончательно вышла из себя: «Неужели же барышня не перестанет возиться с этим незаконным щенком? Да барышня опозорит себя на весь околоток». Тогда Алина рассчитала ее.

– Который час, Франуся?

– Ровно два, барышня...

– Вы звонили по телефону Оскерко?

– Да. Барышня Оскерко отказывается видеть маленького барина...

– А...

Бруно снова кашлял. Алина пошла к нему. Черный газовый тюник, обшитый узенькой полоской черных страусовых

перьев, разлетался при ее движениях. Она напоминала бабочку.

– Как наши дела, маленький?

Бруно отложил альбомы. Он отвечал серьезно:

– Ничего... мне теперь лучше...

Но сейчас же припадок повторился. Глаза у него покраснели, вспухли, слезы бежали по багровым щекам и целые струйки слюны смочили подбородок.

– Ах, бедняжка, – пробормотала она с глубокой жалостью. Сердце у нее стыло при виде этого ребенка, терпеливого и кроткого, никогда не плакавшего. Коклюш изводил его. Особенно были мучительны рвоты, начинавшиеся сейчас же после еды.

– Когда придет доктор? – спросил Бруно.

– Я думаю, сию минуту...

После некоторого молчания мальчик заявил вполголоса:

– Мне будет хорошо у доктора... мужчина лучше понимает мужчину... И потом он вылечит меня.

Бруно снова принялся за альбомы. Алина ходила взад и вперед, чуточку напевая:

Et moi si joueux!

Du retour du drintemps,

Je me mis a chanter

Comme on chante avingt aus?

Она вспоминала Генриха. Последние дни с ним были осо-

бенно сладостны. Она заболела, измученная волнениями, Кровь текла у нее в огромном количестве, и она не могла подняться с кресла. Она похудела, побледнела и стала еще более женственной и красивой. Шемиот буквально не отходил от Алины ни на одну минуту. Он ухаживал за нею с нежностью мужа. Он занимал ее чтением, гравюрами, воспоминаниями о своих прошлых путешествиях. Он забыл свою обычную замкнутость и сообщил ей даже интересные детали о женщинах, которые были ему близки. Он смеялся ее промахам в шашках. Он стал живым, увлекательным, блестящим и часто целовал ее пальчики, повторяя: «Я не знаю, что бы я делал без тебя, Ли...» Он называл Алину просто Ли в минуты интимности, уверяя, что звук из двух букв всегда очень нежен.

Ей казалось, что вся ее душа и тело погружены в атмосферу любви и счастья. Возле него она дышала воздухом, насыщенным знаниями, опытом, утонченными и необычными чувствами. Шемиот подал ей осторожно и туманно мысль продать дом и переехать к нему в имение. Он, по его словам, вовсе не настаивал на этом, но он знал, что только при условии совместной жизни Алина будет счастлива. Однако Алина испугалась. Продать дом и переехать к Шемиоту открыто, как несколько лет тому назад сделала Клара?... О, Клара... печальный призрак, всегда пугавший Алину... Занять место покойной? Нет, нет... почему эта жертва так смущала ее? Смутно она понимала всю шаткость любви Шемиота. Нако-

нец, она была привязана к месту, вещам, саду, она чувствовала себя более свободной и гордой, имея собственный угол.

По возвращении из имения Алина потеряла спокойствие. Все старые сомнения ожили в ее душе. Она снова не верила в любовь Шемиота и ревновала. Это еще увеличивалось и оттого, что Шемиот продолжал жить в деревне, очень редко и кратко отвечая на письма. Она отупела от слез и чувственных припадков. Теперь все ее мысли и видения, ощущения сосредоточились на картине – Генрих и она на дачке, среди ивняка, и она просто утомлялась физически, до такой степени это было неотвязно, бесстыдно, ярко и мучительно. Но она не отнеслась к этому спокойно и покорно, как прежде. Она начала бояться, что с ней происходит нечто такое, что сведет ее в дом умалишенных, по крайней мере.

Доктор Мирский приехал.

Бруно покраснел от радости, и кашель его усилился. Доктор ласково погладил его по голове, Алина расцеловала, а лакей доктора укутал, снес в автомобиль и увез.

Мирский же остался завтракать у Алины.

При маленьком росте его голова казалась очень большой, седая голова с крупным носом, крупными губами, восточными глазами под тяжелыми веками. Одевался он тщательно и гордился перламутром своих ногтей.

Он был доволен, что Бруно переходит к нему, и несколько не удивлялся равнодушию Христины.

– Материнство госпожи Оскерко случайное. Я позволю

себе заметить, что она чрезвычайно цельный человек. Я уважаю ее за это.

Они говорили об изменении психологии.

Алина придралась к случаю и перевела речь на самое себя. Она жаловалась на странное желание, мучившее ее временами, на желание унижений и боли и на то, что любовь не представляется ей без окраски жестокости. Она хотела выяснить для себя, есть ли во всех ее чувствах оттенок болезни, невроза, зародыша безумия.

Она внезапно густо покраснела и смолкла, ощущая неприятную лживость рассказа, удивляясь грубости некоторых деталей.

Возмущенная собою, теряясь от жгучего стыда, в котором не было уже примеси сладострастия, а только отвращение, Алина воскликнула:

– Извините меня, доктор... я вовсе не похожа на то чудовище, о котором я вам рассказала.

Мирский вежливо поклонился и засмеялся.

Он вполне уверен в этом. Его вопросы относились к физиологии, и самым мягким из них был тот, как Алина выносит три дня в месяце и не занимается ли она тайным пороком. Она отвечала ему с внутренним протестом. Нет, нет, это совсем не то. Она ненавидела науку, которая каждое движение ее души приписывала влиянию органов деторождения, а мысль пришивала к желудку.

Потом доктор мягко объяснил ей, что все ее ощущения,

по его наблюдению, очень обычны, название такое-то, печатся или смягчаются, по крайней мере, таким-то и таким-то способом.

Об этом недуге Алина может найти интересные указания в таких-то книгах и даже в беллетристике. Он же, доктор, в подобной женской психологии не склонен видеть ничего предосудительного или общественно вредного, ибо эти женщины мучат только сами себя.

– Вы думаете, что иные... многие женщины... чувствуют, подобно мне?...

– Не многие, а все...

– О...

– Я убежден. Они чувствуют, как вы, но оттенок и способ выражения у каждой разные. Наконец, многие не сознаются в этом из стыдливости, глупости или по расчету. Он спросил бедную смущенную Алину:

– Вы практикуете?

Она не поняла. Он усмехнулся, поясняя. Реализует она свои желания или нет?

После минутного колебания Алина ответила, что да, но очень редко и не доходя до жестокости. Она тяготилась и стыдилась этого бесполезного разговора, который казался ей к тому же и нечистоплотным.

Мирский пожал плечами. Он налил себе еще вина, золотистого и искрящегося в венецианском графине.

– Не было жестокости? Но ведь дойти до жестокости так

легко... и потом господин Шемиот производит впечатление... О, это не тот человек, который растрогается от женских слез...

Алине показалось, что ей снится кошмар.

– Вы называете господина Шемиота?...

Доктор смутился в свою очередь. Он нервно извинился, прикрывая восточные глаза и опуская нижнюю губу. У него сорвалось это имя... они с Алиной так сейчас откровенны... откуда он узнал о ее романе? Да совсем просто... О них много говорят... Неужели она думает, что возможно укрыться в этом южном болтливом провинциальном городке?... Тогда она похожа на страуса. Все знают о ее близости к Шемиоту.

– Вот как, – прошептали Алина.

Она отпила холодного вина, чувствуя дурноту. Слабый румянец выступил на желтом, бритом лице Мирского. Он отрезал себе кусочек индейки, говоря:

– Дитя мое, откровенность за откровенность... вы видели мою падчерицу. Нет? Но я часто катаюсь с нею, только с нею бываю в театре. После смерти жены она ведет у меня дом... Это милая, чудесная девушка... Настоящее сокровище... Кроткая, прилежная... Но мне приходится сечь ее... Иногда на нее находят странные припадки упрямства, дерзости, лени... Она делает (я вижу это ясно) все возможное, чтобы добиться от меня выговора или наказания... Тогда я бываю строг... Я даже секу ее до крови... Ей семнадцать лет... Она совершенно не знает ни жизни, ни медицины, разуме-

ется... она не понимала, что с нею... Она обожает меня...

Алина задыхалась от отвращения и к себе, и к нему. Они обменялись еще несколькими банальными фразами. Франуся принесла кофе, Алина с нетерпением ждала, когда доктор уедет. Перед отъездом доктор назвал ей все медицинские книги, какие нужно прочесть. Алина нашла жизнь отвратительной, а себя униженной до последней степени.

Христина Оскерко согласилась на предложение Юлия Шемиота. Они обвенчались без всякой торжественности, даже без органа, после утренней мессы. Христина в подвенечном платье с букетом роз держала себя безучастно. Юлий улучал каждую минуту, чтобы оглянуться и улыбнуться Алине. Из приглашенных никого не было. После венчания в доме Витольда устроили парадный завтрак.

Немного боялись, что Шемиот-отец не приедет. Но он приехал, великолепный в своем смокинге, чуть-чуть ироничский и безусловно вежливый с Христиной. Казалось, он ничего не имел против этого брака. Он даже поднес Христине художественную серебряную шкатулку с бриллиантами его покойной жены. Христина проявила почти неприличную радость. Она бросилась обнимать Шемиота, побледневшая, с трепещущими ноздрями, словно в любовном экстазе. Юлий почувствовал себя скандализированным. Шемиот-отец опустил глаза. Было решено, что новобрачные поедут в имение, а потом останутся жить на городской квартире Шемиота-отца. Витольд не одобрял этого проекта. Когда он женится (и

он думал о Мисси Потоцкой), он увезет свою молодую в Париж. Так нужно начинать новую жизнь... Он забывал, что его сестра выходила нищей из-за его скупости и черствости. Он отказал ей даже в белье.

Скоро Шемиот-отец уехал. Целуя руку Алине, он шепнул.  
– Приезжайте ко мне завтра, Ли...

Она затрепетала от радости, не смея спросить, чем же он занят сегодня?

Все провожали Шемиота-отца в переднюю.

В глубокой тоске Алина вернулась на место к столу.

Христина и Юлий целовались, любуясь панорамой города.

Полуденное солнце ярко освещало снег на крышах. Верхушки деревьев и труб бросали неподвижные то короткие, то длинные тени, Птицы часто пролетали над этим каменным морем. Небо было того неприятно-голубоватого цвета, который напоминает плохую акварель.

«Что мне делать до вечера? – подумала Алина, изнемогая от тоски. – Как странно... многое изменилось в моей жизни, но это не повлекло за собою внешних перемен. По-прежнему я боюсь пойти к Генриху без его позволения и большую часть дня совсем одна... Генрих логичен, предлагая мне переехать к нему... По крайней мере, я была бы с ним неразлучна... Мы могли бы уехать путешествовать... и потом, после слов доктора Мирского, я вижу, что репутация моя подорвана.»

Христина чему-то нервно смеялась. Юлий старался поцеловать ее в шею. Он усвоил себе неприятно-развязный, едва

не наглый тон с Христиной. Это удивляло Алину. Витольд пришел, неся на подносе маленькую спиртовку.

– Как хотите, господа... но я еще сварю кофе по-турецки... Покуда он возился с ним на столе, с которого горничная не сняла еще остатки пломбира, фрукты, ликер, Алина не издала ни звука. Тоска, тоска...

– Вам налить, Алина?

– Нет, благодарю...

– Это жаль. Кофе превосходен.

Однако Витольд оставил сейчас же свою чашечку, облепленную кофейной пеной, и скрылся. Он торопился к Мисси Потоцкой, которой назначил свидание на вернисаже.

Горничная убирала со стола. Юлий дразнил попугайчиков. Христина под села к подруге.

– Ты молчишь, Алина?...

– Я немного устала...

– И что думаешь о моей свадьбе?...

– Я тысячу раз поздравляю тебя...

Христина пожала плечами. Она бормотала сквозь зубы, что вышла замуж, так как жизнь с Витольдом невыносима. Сам же Юлий не внушает ей слишком большого отвращения, и потом выполнять механически роль жены...

– Все это не то, Алина... Я поступила, как те женщины, которые, любя одного, идут на содержание к другому...

Генрих Шемиот сам открыл двери Алине.

– Я один, Ли... – сказал он, не давая ей времени поздо-

роваться, – Юлий и Христина в имении... Лакея я отпустил на сегодня.

Он поднял ее вуалетку, мокрую от снега, и, целуя медленно в губы:

– Милая Ли...

Она бормотала, задыхаясь:

– О Генрих... я так счастлива, я думала, умру от волнения, когда я звонила у твоей двери...

В его кабинете все было так же, как при Кларе. Та же лампа под абажуром из белых бисерных нитей освещала зеленый мраморный письменный прибор, и разрезанную английскую книгу, и чудесную свежую сирень, нежно белевшую на тумбе.

Тот же мраморный Данте задумчиво ждал Беатриче, и тот же запах мускуса, амбры и розы из всех складок портьер, ковра, самого Шемиота.

Они снова обнялись.

– Как ты мило одета...

Она улыбнулась.

– Если ты доволен.

Это было действительно изящное платье бледно-голубого цвета с серебряным кружевом, падающим спереди легко и просто. На плечах крылышки из того же кружева, низкий вырез и узкий длинный рукав, и узкая бархотка под грудью. Восемь гофрированных оборочек внизу платья производили легкое frou-frou при движениях Алины.

Шемиот учтиво слушал ее.

Ощущение оторванности от всего мира рождало в нем жажду страсти и жестокости. Он сознавался себе, что еще ни с одной женщиной не испытывал ничего подобного. Как всегда, в нем поднялась сначала жалость к Алине, жалость увеличила желание, а желание ослабило волю.

Выражение его глаз изменилось. Оно было так же нежно, как и раньше, но в нем сквозила ирония, смешанная с торжеством собственника.

Он сказал:

– Знаете, дорогая... я привез вам из имения... О... я не хочу быть смешным... я не нахожу это подарком... я привез вам, Ли, розги.

Краска медленно залила ее лицо.

Она возразила сдержанно:

– Какая неуместная шутка...

– Но это менее всего шутка, Алина!

– В таком случае... Нет, право же... я не хочу думать о вас дурно, Генрих... возьмите свои слова обратно.

Он слегка улыбнулся. Она испугалась замкнутого и холодного выражения его глаз. Она обняла его крепко, лепеча: «Нет, нет, сегодня пусть он не наказывает ее... сегодня нет...»

– Почему?...

И он снял ее руку со своих плеч.

– Почему сегодня. Ли, вы так малопослушны?...

– Потому что сегодня я ни в чем не виновата перед вами, Генрих...

– Очень хорошо. Длина... Предположим, что я накажу вас... ради своего каприза?...

Она содрогнулись. Как он раскрывал свои карты с очаровательной легкостью?... Но она не хотела подобных оскорбительных признаний!

Она прошептала с отчаянием:

– Нет, нет...

– Вы не логичны...

Она зарыдала от стыда и горя. Тогда она была виновата... но теперь она не виновата... а ради его удовольствия – это так унижительно, так ужасно. Она бросилась перед ним на колени, не понимая, что своим отчаянием, слезами и мольбами удваивает его желание.

Шемиот сказал ей с обычной учтивостью:

– Эту сцену я давно предвидел, Алина... я знал все ваши возражения и упреки... я знал, что вы поступите именно так... своевольно и необдуманно. Сегодня у вас нет другой вины передо мной, кроме вины протеста... Но это очень тяжкая вина, Алина...

Она подняла на него робкие глаза, улыбнулась сквозь слезы и пробормотала:

– Я обязана верить вам, Генрих...

Теперь она радовалась... Правда, где-то вне ее сознания, не задевая души и не задерживаясь и памяти, у нее скольз-

нула мысль, что они оба лгут друг другу и она катится куда-то на дно, в грязь, но это было смутно, безболезненно и мгновенно.

Шемиот не хотел помочь ей. Он только отдал Алине бронзовый ключик от шкафчика, в котором хранились его ценные вещи и бумаги... Она плакала, а Шемиот спокойно следил за ее движениями и любил ее больше всего на свете.

Алина не могла бы объяснить, почему так уверенно она узнала, что ей нужно сделать сейчас и почему она инстинктивно угадывала ту форму своего повиновения, которая особенно волновала бы Шемиота.

Так, она сама увидела хрустальную вазу стиля ампир с двумя ручками по бокам и плоским, словно срезанным, горлышком. На ней было два белых матовых медальона, где золотые монограммы Шемиота перевивались фиалками.

Эта ваза стояла наполненная свежими нарциссами. Алина вынула ароматные цветы, напоминающие звезды, и, все так же не глядя на Шемиота, опустила туда розги, краснея и волнуясь. Они не очень длинны, жестки, матовы. Потом они станут гибкими и свежими. Они так больно будут жалить ее тело.

Она подняла глаза на Шемиота и увидела, что он бледный прозрачной, несколько пугающей ее бледностью, которую Алина уже заметила у него в первый раз на дачке среди ивняка.

Теперь она радовалась наказанию, несмотря на глубокий

страх. Вся содрогаясь, бросилась на постель, отдернув перед этим широким жестом занавески. Она вкусила все наказание в глубоком молчании, и это восхитило Шемиота:

– Только ты... только ты понимаешь меня... Шемиот положил ей руку на голову. Не поднимаясь, нежным жестом она сняла ее и прильнула благодарным и влюбленным поцелуем. Но после взрыва нежности и любви он мало-помалу снова обрел свой холодный тон. Шемиот сказал ей слегка иронически:

– Теперь я более уверен в вас, Алина...

Нынешняя зима походила на северную. Снега выпало небывалое количество. Среди этой ослепительной белизны море казалось черным – грозным и никого не интересовало. Шемиот уехал в имение. Там же оставалась и Христина. Юлий предпочитал оставаться здесь, посещать театры, концерты и упорно ухаживать за Алиной. Она не относилась к нему равнодушно. Этот грациозный юноша, белокурый и гибкий, с глазами, как светлые аметисты, с пленительной свежестью рта, рождал в ней чисто физическое желание. Однажды она спросила его при встрече:

– Что у вас нового, мой мальчик?

– Моя любовь к вам, Алина...

– Как?... А ваша жена?...

– Я несчастен с нею. Она груба и алчна.

– Замолчите, гадкий... вы ведь знаете... я... я могу считать себя несвободной...

– Что из того?

– Вы чудовище...

Он взял ее руку и начал осторожно и медленно целовать горячие ладони. Она была взволнована, удивлена, смущена и чуточку смеялась. Ах, этот мальчишка. Дрожь желанья пробежала по ней. Ужаснувшись, она подумала о Генрихе Шемиоте. Боже, тот причинил ей столько горя!.. К сыну у нее родилось иное чувство – опасное и неожиданное. И это чувство, увы, она хорошо понимала. В нем не было ничего возвышенного или загадочного, ничего такого, чтобы напоминало глубокую и мрачную страсть ее к Генриху.

Он заметил мечтательно:

– О, если бы вы полюбили меня, Алина... пусть ненадолго... на день... два, но полюбили бы...

– Это был бы огромный грех, Юлий...

– Конечно...

Она медленно впитывала его мысль и где-то в тайнике души осваивалась с нею... Да... да... преступление упало бы на нее...

Но уже сейчас же после ухода Юлия ее охватила чисто животная тоска, смешанная с глубоким отвращением и усталостью.

Она думала: «Маленький Юлий Цезарь, что вы можете дать мне? Я навсегда отравлена вашим отцом... я брежу только им... перед вами я – старуха... Нет, нет, я буду бороться...»

Долгое время она находилась в состоянии большой подавленности, Она снова мысленно обращалась к последней сцене наказания. Она продолжала ощущать неудовлетворенность и неприятный осадок фальши в поведении Шемиота.

Она так жаждала оправдать его... Она видела ясно, что для нее теперь только один выход – это быть поистине виноватой, поистине грешной перед Шемиотом. Чувствуя, как она запутывается в своих мыслях, выводах, и не желая иметь никакого дела с медициной, Алина решила пойти на исповедь. Разве ксендз не тот же врач? Без сомнения, часто он даже более опытен и тонок, имея дело исключительно с душами. Воспоминание о религии, которую она давно утратила, оживило и ободрило Алину. Конечно, она пойдет на исповедь.

Она отнесется с уважением к словам ксендза и, возможно, воспользуется его советами.

С оттенком легкого задора она написала о своем намерении Генриху Шемиоту. Он ответил ей с обычной насмешливостью. Разумеется, она хорошо поступит. Христианство требует от женщины прежде всего послушания и покорности. У Алины родится туча благочестивых мыслей о верности ему, Шемиоту, о смирении, подчинении, о собственном женском ничтожестве, о причастности женщины к дьяволу...

В те дни Алине попало на глаза жизнеописание блаженной Маргариты Марии Алякок. Святая замечала о духовни-

ке своим, аббате Коломбьере: «Он не пропускал ни единого случая унижить меня – и это доставляло мне живейшую радость».

Алина опустила книгу и зарыдала, задыхаясь в атмосфере нежных слов, криков, признаний. Пламенная скорбь, пламенная жажда искупления и очищения переполнили ее сердце. Она боялась своей недостаточной покорности перед Шемидом, и она погрузилась потом в глубокую грусть, которая доставила ей наслаждение.

В одну из суббот Алина отправилась на исповедь.

Костел был старый, нарядный, внутри почти весь выложенный белым мрамором, с множеством конфессионалов, с гротом Лурдской Мадонны, из которого Она выступала крошечная и трогательная. Алина нашла себе удобное местечко против образа Марии Магдалины. Вид этой святой с распущенными золотыми волосами и традиционным кувшином драгоценного масла растрогал Алину. Она вспомнила слова сентиментального Данте к Беатриче и Иисуса к Марии Магдалине. Христианство, провозглашая целомудрие, не могло вычеркнуть из Евангелия образ блудницы. Эта прекрасная грешница, возлюбленная Бога, сопровождала его до Голгофы. Ее золотые волосы обвивали подножье креста, как пелены в гробу тело Иисуса. Не только до смерти идет она с ним рядом, – и после смерти она с ним. Блеск Его имени падает и на нее. Великая вестница великой радости, она всегда остается волнующей и пленительной. Не потому ли, то сна-

чала она – грешница, а потом святая, сначала любовь, а потом вера?

Мария, падшая из Магдалы, стала символом для человечества. Сейчас разглядывая образ святой, Алина удивлялась, что в искусстве Магдалина незначительна. Корреджио изобразил Магдалину кокетливой итальяночкой, которой только недостает нитки кораллов и корзинки цветов. У Рубенса – грубая, вульгарная, мощная фламандка падает на руки служанок, роняя драгоценности, и нет никакого основания думать, что это Магдалина. Гофман назвал ее именем высокоую мужеподобную женщину, апостола в юбке и золотые волосы выкрасил в черный цвет. Зулоаг причесал четырнадцатилетнюю испанку, как маркизу, наклеил ей мушку, украсил ее желтой хризантемой, и эту порочную девчонку Мадридской улицы: выдал, за Марию. Как эффектно рыдает Магдалина у Беклина и как она напоминает героинь Д'Аннунцио. Наконец, Магдалина в пещере, популярная, белокурая Магдалина с обнаженными плечами, вызывала легкое беспокойство. Она была так обаятельна по-земному и так не хотелось, чтобы она раскаялась и бичевала свое тело...

Ей пришлось оторваться от своих мыслей. Ксендз шел в конфессионал. Ее сердце испуганно забилося. Она стиснула четки и опустила глаза, лепеча, путаясь, *ave Maria*.

Он стукнул дверцей, шумно уселся, задернул изнутри занавесочку, зажег электричество и принялся читать свой молитвенник. После некоторой неловкости она приблизилась.

Ее исповедь была длинна и страстна.

Ксендз, худой, черный, с грубыми чертами лица, с руками, настолько высохшими, что они напоминали руки скелета, не проронил долго ни единого слова. Внутренне он задышался от ненависти, разглядывая сквозь деревянную решетку молодую, изящную женщину, нежно пахнувшую амброй, красиво закутанную в дорогие меха, которая каялась перед ним с увлечением.

Потом он разразился бранью. Он проглатывал слова, произнося со свистом оскорбительные прозвища, язвил, насмехался, выплескивал в ее лицо ее же признания, подчеркнутые, искаженные, утроенно безобразные. Единственно, что обрадовало и даже восхитило его, это поведение «соблазнителя», как называл ксендз Генриха Шемиота. От грубого смеха его удерживала только святость места. Да, да всех распутниц нужно сечь, гнать, унижать, выставлять к позорному столбу, обрекать на голодную смерть, вечное заточение, вечный позор. Если, по несчастью, по малодушной доброте некоторых дурных христиан и не все падшие женщины бедны и гонимы, то хоть двери неба, – ах, двери неба заперты для них прочно, раз и навсегда.

Он кричал ей в ухо:

– Благодарю Бога за розги от соблазнителя. Проси, жди их... Ты искала у любви сладости, позорного пира плоти, роскоши чувств. Ты нашла унижение, слезы, позор, боль. Терпи, смирайся, кайся, ползай на коленях перед твоим со-

блзнителем, не смей стереть плевков с твоего лица... твоя вина перед этим человеком несмываема и огромна... ты сама гналась за ним... ты совратила, ты искусила и бесстыдно влезла в его кровать... Сегодня я не дам тебе отпущения грехов... приготовься лучше, приходи в следующую субботу. Я требую, чтобы ты снова попросила у него розог... снова... что?... Тридцать, сорок розог... до крови, до потери сознания...

Но он все-таки был тронут, польщен и удивлен, когда Алина выслушала его поток брани смиренно, как ягненок.

Вытирая пот, ксендз подумал: «Эта распутница еще не совсем во власти сатаны, – милосердие Бога бесконечно...»

Он удалился бесшумно, бледный, строгий, с опущенными глазами, со складкой нравственного удовлетворения около тонких губ.

Алина снова очутилась перед образом Магдалины. Пламенная радость, нежность, которая приближалась к боли, залила ее душу... – «твоя вина перед ним несмываема и огромна», – она повторила слова духовника с закрытыми глазами, утопая и блаженстве... «Она была виновата перед Генрихом, значит, он справедливо... О, счастье, о, радость, о, упоение... Она не больна, не безумна... она только грешница и как грешница несет свою кару...»

С того дня все крепости ее души были сданы.

В этом году весна наступила очень рано. Сад Алины стоял белым: это яблони, вишни, абрикосы, миндаль покрылись

нежно-розовыми пахучими цветами. Снопсы черемухи украшали каждую комнату. Сирень набухла и могла раскрыться ежедневно. На грядках появились бархатные анютины глазки. Сегодня Алина нашла их. Она задержалась здесь с материнской улыбкой. Потом она пошла дальше и села на каменную скамью. За последнее время она похудела и ее глаза утратили выражение ясности. Тайный огонь – тоски и любви – сжигал ее. Иногда ей начинало казаться, что Шемиот охладевает к ней. Он упорно оставался жить в деревне. Он не хотел больше ни мучить ее, ни обладать ею. При встречах он замыкался в свой учтивый, иронический тон. Впрочем, он все чаще и чаще намекал Алине, что раздельная жизнь утомляет его. Почему она до сих пор не продает дома?...

Сейчас Алина думала:

«Скоро придет Юлий... он добивается меня с упорством безумного... я очень плохо защищаюсь... То, что для другой женщины являлось бы еще ступенькой вниз, для меня – якорь спасения... Я не хочу Юлия как любовника... я жажду его, как грех... Грех, который бросит меня в прах перед Генрихом... Грех, который потребует искупления, длительного и упорного... Грех, который вынудит меня к непрерывным жертвам и унижениям... Юлий, мой дорогой мальчик, мой нежный ребенок, простите ли вы мне эту игру?... Когда соединяются двое несчастных, они не станут счастливее...»

В ту минуту Юлий спускался по ступеням веранды. Он приближался спокойным, изящным шагом, в чем-то смутно

напоминая отца.

– Добрый день, Алина...

– Добрый день, Юлий...

– Вы видите, я аккуратен...

– Да.

– Я пришел за ответом, как мы условились...

– Хорошо... садитесь... вы торопливы... я ни о чем не хочу думать, Юлий...

– Это весна.

Он еще раз поцеловал ее руку, бросил панаму на каменный стол и сел. Алина покусывала длинную шелковистую травинку и щурила глаза. Ласточки ссорились между собою. Ветер чуть-чуть клонил цветущие, словно обсыпанные снегом, деревья. Свежий, тонкий весенний аромат зелени черемухи и самой земли волновал и расслаблял их обоих.

– Как вы грустны, Алина... Любовь стоит вам дорого...

– Возможно...

– Вы знаете... сегодня утром я получил письмо от моей жены.

– Да?

– Христина снова спрашивает о вас, интересуется только вами, жалуется, грозит... О грязная жаба. Жаба... Я не хочу иначе называть ее.

И он разразился грубыми насмешками. Ах, довольно с него кривлянья Христины, ее сцен, ссор, истерики, скупости... Она еще смеет чувствовать к нему отвращение и запи-

рать свою спальню... Она, эта падаль... эта развращенная, разъяренная самка... Да его самого тошнит при одном звуке ее голоса и шагов.

– Не становитесь вульгарным, Юлий... вас предостерегли от брака.

– Я помню, Я никого не виню... но семейная моя жизнь невыносима... Единственное утешение это то, что Христина панически боится моего отца... Он укрощает ее только взглядом, иначе она бы заела меня... Конечно, я не мог себе представить, что возненавижу Христину... оказывается, ненависть приходит так же внезапно, как и любовь...

Алина мысленно вернулась к Шемиоту. Теперь в имении все поет и благоухает.

– А что вам пишет отец, Юлий?

– Он ничего не пишет...

– Он давно был в городе?

– Недавно. Разве вы не виделись, Алина?

– Нет.

Солнечное пятно коснулось лиловой шелковой туфельки Алины и горело на золоте вышивки. Потом оно метнулось по ее белому муслиновому платью, задержалось на лиловой повязке, усыпанной золотыми мушками, у нее под грудью. И еще через минуту оно ласкало ее пепельные волосы и утомляло синие глаза.

Юлий сказал, овладевая рукою Алины:

– Недавно, гуляя по имению, я забрел на дачку... милую

дачку среди ивняка... Ага, вы покраснели... тем лучше... во мне проснулись все дьяволы... Я вспоминал...

Алина смутилась, прошептав:

– Теперь это редко...

– Почему?

– О... У меня нет вины перед ним... Это парализует и его и мою волю...

– Значит, другие ласки?

– Нет... нет...

Ее возглас, полный тоски, принес ему некоторое удовлетворение.

– Вы тоже несчастны, Алина...

– Я вам не сказала.

– Не лгите, дорогая, ложь – это привилегия моей жены.

Он крепко перецеловал ее пальчики.

– Какой же ваш ответ, Алина?...

– Я еще не знаю...

– Это звучит согласием...

Очень бледная, она попробовала улыбнуться.

– А ваш отец?... А ваша жена, Юлий?...

– Не все ли равно... Я люблю вас... Отец?

– Но отец будет обладать вами всегда! До смерти... я не отнимаю вас у него... на моем месте он поступил бы так же.

Она задумалась, глубоко уставшая.

– Почему я так долго колеблюсь? Все логично и просто. Сначала я сама призналась Генриху в любви и добивалась его

взаимности. Затем я сама молила о наказании и сама же отдалась ему. Потом я примирилась с его отказом жениться на мне, – роль тайной любовницы была для меня блаженством. Наконец, моя тайна стала явной для общества, и Генрих хочет совместной жизни. Мой дом только помеха для него. Нужно продать его и уйти к Генриху. Можно подумать со стороны, что теперь я совсем невинна и чиста перед Генрихом? Это ошибка... мысли оставляют след... разве я не прелюбодействовала с Юлием в моем сердце?... Я всегда очень грубо желала его. Что Генрих может потребовать от меня как искупления? Я не знаю. Что будет с Юлием?... Я не знаю...

Она подняла голову и улыбнулась.

– Вы думали?...

– Я подводила итоги...

– И...

– Юлий, мой дорогой мальчик... У него показались слезы.

Привлекая ее к себе, ища ее губ, он прошептал:

– Я люблю вас... я люблю нас...

Она возвратила ему поцелуй, все больше и больше тоскуя.

– Вы бредите... вы заблуждаетесь, Юлий... Я недостойна любви...

– Вы прекрасны. Вы нежная и святая...

– Я только распутна.

– Скажите «да», Алина...

– Да, Юлий...

У нее мелькнула мысль; «Поцелуи Юлия сладостны по-

иному... я не знала, что поцелуй других губ также мне доставит трепет и забытье... Но ведь он его сын?... Может быть, поэтому?»

– У вас, Алина?

– У меня, Юлий...

Та же постель с занавесками лунного цвета и качание цветущих деревьев за окном, и голубое небо, и щебет ласточек, и солнце, и слезы, и тоска, и сладострастие нового греха среди поцелуев и жадности рук...

Широким жестом они раздвинула занавески кровати. Оказывается, после бурных, долгих слез она уснула. Солнце было ниже. В раскрытое окно тянули свежестью сада. Птицы еще цели. Теперь Алина вспомнила все случившееся. Юлий оставил ее, взбешенный и полный презрения. Он клялся, что Алина после ее признания для него не существует. Он послужил ей средством возбудить страсть в его отце? Отлично. Он платит Алине той же монетой. Она для него весенняя лихорадка, минутное забытье, валерьяновые капли, случайная встреча, которую даже не вспоминают. Потом он разразился почти грубыми упреками. О, зачем она призналась ему? ... Как она жестока... До последнего поцелуя она верила в его влюбленность... Зачем она так грубо и ненужно швырнула ему правду... Алина только вздыхала. Она не умела его утешить. Она созналась в умышленности своей интриги, ибо она не хотела продолжения связи или повторения их свиданий. Отныне она умирала для него. Никто никогда не узнает

их общей тайны.

– Забудьте меня, Юлий... И простите меня, если можете...

Тогда он ушел.

Алина поднялась на локте, взяла флакон с фиалкой, смочила виски и снова легла. Она думала, закрыв глаза.

– Как слезы облегчают... я выплакала всю свою душу... я чувствую необыкновенный прилив сил... Завтра, послезавтра ко мне приедет Генрих... О, теперь я встречу его иначе... Я... грешница и прелюбодейка!.. Конечно, свою тайну я понесу одна, через всю жизнь... мой грех никогда не станет явным для Генриха... О, радость тайного преступления...

Она улыбнулась, смущаясь даже сама перед собою. «Теперь... когда Генрих захочет наказать меня... О, теперь это будет иначе... для меня... для меня...»

И она бросилась в море упоительных и сладострастных представлений, без протес га, без стыда, без колебания, нагая и восхищенная.

– Прежде всего и после всего будут розги... – она улыбнулась в темноте, смущаясь лаже сама с собой, Ей хотелось, чтобы на этот раз Шемиот продлил над ней мучительство. Разве она не заслужила этого? Пусть он скажет о наказании накануне... Она будет думать... несколько часов молчаливых терзаний... пусть он также велит ей самой нарезать розог... Она должна будет перед наказанием сама смочить их...

Пусть он наказывает ее среди вещей и предметов, которые она любила и которые были для нее живыми свидетелями каждого прожитого дня. Пусть он наказывает ее перед раскрытыми книгами, в нарядном платье, при дневном свете, всегда бесстыдном... Ах, она кричит униженно и страстно... И, если бы кто-нибудь вошел и ту минуту... Христина... Юлий или Франуся... Ее сердце начало биться неровно и тяжело. Кровь бросилась в голову. Она не то грезила, не то бредила, не то засыпала, не то сходила с ума, И это было так же сладостно, как плыть по голубому озеру и смотреть на горы, залитые закатом. Ветер принес ей аромат цветущих деревьев и, содрогаясь от восторга перед жизнью, с криком любви, тоски и боли, она мысленно обратилась к Шемиоту.

«Я обманула тебя с твоим сыном. О, я ненавижу себя, ненавижу... Я достойна самого строгого наказания... Я буду благословлять его... Не забудь... не забудь... ты обещал исправить меня... Я жду... После розог (и от этого слова все ее тело содрогнулось), после розог я посмею вымолить у тебя прощения... Теперь я должна молчать... На этот раз я не сокращу наказания своими криками. Нет, нет... Я положусь всецело на твою волю... Мой любимый... мой любимый... Я буду говорить тебе о своем грехе, покуда ты будешь сечь меня... О, ты справедлив, ты добр. Я падаю к твоим ногам и не хочу подняться. Будь строг ко мне. Я хочу плакать под твоими розгами. Будь строг ко мне».

Как только он разложит ее, она почувствует себя малень-

кой и ничтожной, рабой и ребенком, любовницей и сестрой. Как сладостно растопляться в чужой воле, испаряться подобно эфиру. Как сладостно закрыть лицо руками, ощущать, что его руки поднимают ее юбки, роются в ее кружевах, рвут ее тесемки... Как будет трудно умолить его. Как будет строг и холоден его голос. И она задыхалась от волнения, улыбаясь блаженно, страдальчески и бессмысленно, с пылающей головой, губами, закрытыми глазами, в позе разложенной перед наказанием девочки.

Представляя себе, как розги кусают ее тело, она бормотала:

– Не надо жалости... Высеки меня до крови, до потери сознания... Я так много грешила... О еще, еще, милый... Будь неумолим к моим крикам, они лгут тебе... Накажи прелюбодейку... накажи лгунью примерно... Если ты любил это тело – сделай его пурпурным, оставь на нем следы розог надолго. Огненные поцелуи. Раскаленная печать... Еще... еще... Это мое исправление, мое искупление, – небесное возмездие в этой боли... еще... еще... позови Христину... позови Юлия... О, как я буду унижена.

Она рыдала.

Вечернее солнце горело на бронзовых сфинксах туалета и купалось в зеркале.

Вежливо поднимая с колен Алину, Генрих Шемиот сказал ей:

– Я продам ваш дом, Алина.

– Да, Генрих...

– Мы будем жить безвыездно в имении...

– Да, Генрих...

– Христина останется в городе. Юлий уедет путешество-

вать.

– Да, Генрих...

– А теперь я накажу вас розгами, ибо вы все-таки свое-

вольны, Алина...

– Да, Генрих...